



Елена Кассель

-ежжж- ДНЕВНИК

Елена Кассель

**-ежже-
ДНЕВНИК**

Париж 2013

ББК 774.11-148
К 214
УДК 88-89:89-97

Елена Кассель

-еЖУЖе-

ДНЕВНИК

Елена Кассель. — Париж, 2013, на русском языке. 184 стр.

Эта книга составлена из дневниковых записей Елены Кассель, которые она год за годом публиковала в Живом Журнале. Записи публиковались вместе с фотографиями, сделанными ею же.

Стиль записей Елены полностью сохранен. В тексте использованы и ее фотографии.

Редактор-составитель Александр Бирштейн
© Елена Кассель, 2013

Вместо предисловия

Сейчас вы станете читать книгу, которая мне очень нравится. И не потому, что я ее как-то составил-отредактировал. А, наверное, потому, что сам себе завидовал, читая Ленкины записи. Названа книга — еЖУЖе-дневник Елены Кассель.

Странно как-то звучит: — Елена Кассель. Правда? Ленка и все. В крайнем случае — mbla. А тут... Но это же формальность, правда? И у книги должен быть настоящий, всамделишный автор с именем и фамилией и даже — жутко сказать — отчеством. Чтоб как у совсем взрослых. Вот и пришлось писать и имя, и фамилию... Хотя бы! Написал и... постараюсь не вспоминать. И вам советую. Тем более, что еще такой безусловный авторитет, как Том Сойер, говаривал, что его зовут полным именем и фамилией только тогда, когда хотят высечь.

Ну, и кому это надо?

Как создаются книги? Ведь никому, наверное, делающему очередную запись в дневнике, коим и является Живой Журнал, в голову не приходит, что он пишет книгу. Да? А записи копятся, копятся... Так и с Ленкой случилось. Когда она поняла, что строчки в ЖЖ не только и не просто записи. Во многом хаотичные, разбросанные и очень даже личные. И, что важнее всего, очень интересные.

А может, даже я это первым понял.

Прочтя записи, я сразу сказал:

— Лен! Это готовая книга!

Ленка возражала и спорила, она опровергала и... снова возражала, в общем, сопротивлялась. Года три мы воевали. И..., в конце концов, я самовольно составил первую главу, назвав ее ЯНВАРЬ. Ленке, вроде, понравилось. Дальше все было проще.

Основной трудностью при составлении этой книги был отбор Ленкиных заметок. Хотелось вместить все! Но так не бывает. В общем, вышло то, что вышло. Ежели что не так, браните меня, не Ленку.

Но бранить, наверное, не станете. Мне, вечно недовольному собой, книга нравится. Думаю, понравится и вам.

Надеюсь, понравится и вам.

А вообще-то, уверен, понравится и вам.

Просто поймите, что это не обычная дневниковая рукопись, а роман о состоянии души.

В общем, читайте.

О впечатлении скажете потом. В том же Живом Журнале. Или еще где. Так что, обязательно поговорим.

Ваш albir

ЯНВАРЬ



По ночам у каждого есть минуты — когда надо спать-спать-спать, а к тем, кто не спит, приходит Воогеутап и вгрызается страхом.

Минуты пониженной сопротивляемости, повышенной смертности. Особенно зимними ночами, когда тишина за окнами, когда молчат птицы, только очень редко механически фыркнет машина. И какой-нибудь фонарь воспалённо подчёркивает тёмное сиротство.

Сначала была река — наверно, Дордонь — заросшие лесом холмистые берега, временами белые скалы наваливались на воду. По-

том в одной скале открылся железнодорожный туннель, и мы туда пошли — пешком. Там в темноте кричали маневровые паровозы, или тепловозы, кто их разберёт. И сверкали огромными глазами.

Потом тёмная тревожная комната, ночь за окном, и ощущение невероятной зыбкости.

Провал.

И опять река, всё та же река. И вход в туннель. Катя кинулась в воду, я кричу, зову, — берег крутой — вот она вылезает, но тут же опять — в реку, и Гриша за ней. Катя поворачивает к берегу, Гриша плывёт вперёд, я кидаюсь в воду, догоняю Гришу, хватаю её, плыву, берег где-то сзади далеко, река широченная, может быть, Нева у Петропавловки.

Просыпаюсь.

У меня такие минуты — под утро — нельзя просыпаться в 4, 5, 6, а если уж приходится, то лучше от врывающегося в сон звона, когда кажется, что счастье на свете одно — спать-спать-спать. Впрочем, самое правильное — это проснуться за пять минут до этого пронизывающего личное пространство звона.

А уж если случилось проснуться в чёрное время — остаётся только прислушаться к тёплому собачьему духу и причмокиванию, убедиться, что мои трое зверей на месте, сжаться, прижаться, окутаться сонным духом...

Если есть такие минуты, когда тот кусочек земли, где я — внутренняя маленькая матрёшка — в доме, в квартире, в постели, сжимаюсь в самый маленький комок, сворачиваюсь бубликом, мир — совсем отворачивается от солнца, так ведь есть и такой месяц, когда жизненные силы в своей самой низкой точке. У каждого свой. У меня январь. Всегда январь. Послепраздничное похмелье — ненужные лампочки на ветру. Последний Новый Год в Питере. В мою честь наступил невероятный космический холод, наверно, чтобы легче было уезжать. Лопались трубы отопления, закрывались больницы и школы. Автобусы «Икарусы» останавливались — они были венгерские, а в Венгрии, видимо, не бывает -40.

Одна элегантная пожилая женщина, зайдя в гости, попросила выпить чего-нибудь согревающего — в доме было только советское виски — она хватанула стакан, не поморщившись. А ведь пить этот продукт было категорически невозможно.

У друзей из трубы в подъезде бил горячий ключ, и они боялись, что не смогут придти на Новый Год, потому что не сумеют выйти из квартиры. Другой друг попытался уехать к жене, учившейся в Мо-

скве. Поезд дошёл до Бологого и встал. Замёрзших пассажиров привезли обратно в Питер на автобусе.

Зимние школьные каникулы с холодными трамваями, с тяжёлыми шубами, с ёлками, на которых Дед Мороз дарил картонные коробочки с конфетами и мандаринами.

В детстве ёлку покупали за неделю до Нового Года. Вывешивали её на мороз за окно. Удивительно, но эти прицепленные к окнам ёлки не падали прохожим на головы.

За приличной ёлкой надо было, как водится, побегать. По городу ходили и будоражили умы разные истории. Например, про то, как какой-то счастливцев получил у милиционера роскошную конфискованную у браконьеров ёлку в обмен на индийский презерватив. Один?

Наряжали 31-го, часов в 5. Ритуал — сначала поспать днём, а потом наряжать.

Папа открывал окно — запах и жгучий холод — нас с сестрой, как малолеток, кажется, гнали из комнаты.

Сначала игрушки — стеклянные, но иногда совсем не хрупкие — как-то ночью огромный вульгарно раскрашенный розовый шар со стуком упал на письменный стол и не разбился.

Повесив игрушки, присыпали ёлку седой шерстью, которая называлась «волосы феи».

Дед Мороз приходил примерно в это время. Иногда он звонил во входную дверь. Бежали открывать, а там — расшитый мешок под открытым лестничным окном. Один раз он закинул мешок в окно в сортире — в нашей маленькой трёхкомнатной коммуналке (всего одни соседи, и нас пятеро в двух комнатах) сортир, конечно, не тянул на танцзал, но кабинетом или там будуаром мог бы и послужить, и окно там было большое. Так что иду я пописать и застаю открытое окно, а под ним, ясное дело, мешок.

В Новый Год можно было не спать (о утерянное детское счастье — радоваться праву не спать!) и давали шампанское (теперь я его совсем не люблю).

Шампанского я не пью, «Женитьбу Фигаро» плохо помню, и рука к полке за ней не тянется.

Откупорить надо бутылку хорошего бургундского, а с полки достать «Just so stories» — можно в переводе Чуковского, со стихами в переводе Маршака.

Я эту книжку когда-то раскрасила-раскалякала, но одну картинку, видимо, красила не я — аккуратный зелёный крокодил с

красным ртом, синяя река Лимпопо, серый слонёнок — интересно, кто, папа, мама?

В предотъездный Новый Год я раздарила свою коллекцию крокодилов. Это была почтенная коллекция. Я собирала её с детства. Крокодилы жили у родителей на рояле, и были они очень разные — крокодил огромный красный надувной, крокодил на колёсиках, крокодил, очень похожий на Брежнева, при этом резиновый и писклявый, Крокодил Крокодил Крокодилович цвета пожарной машины и точно такой же, но зелёный. И много ещё всяких разных крокодилов. Каждый присутствовавший получил по крокодилу, а крокодилы заключили между собой договор: встретиться на Ниагарском водопаде, например, дружно сплавиться по нему в бочках.

Из людей, бывших на том Новом Году, многие побывали на Ниагаре, но вот не я.

География примешалась к времени, отправив двоих присутствовавших в Париж через Америку, одну в Базель, оставив двоих в Питере, одного в Москве, и разбросав остальных по Америке — от Сан-Франциско до Бостона через Джорджию и Индиану.

Но мы все встретились и встречаемся — наверно, благодаря крокодилам, хотя сами крокодилы и растерялись.

Ау, крокоди-и-лы!

«...В такие минуты и воздух мне кажется карим...»

Всегда хотели, но ни разу не осуществили — пройти по Невскому на лыжах, по только что выпавшему новогоднему снежку.

«Я буду метаться по табору улицы темной...»

Каждый вечер свербит — ещё на день меньше каникул осталось, скоро в школу, в школу, в школу. И бесконечная третья четверть — подо льдом и снегом, и только в конце её в марте — светлей.

Первый день самого тяжёлого в году месяца — «какой-то чёртовый зимарь». В декабре — впереди Рождество. В феврале — почти весна. А тридцать один день января надо протопать — по тьме и холоду... Серые на белом клубятся облака, из тёплого неба упало несколько сухих снежинок.

Печален первый послеканикулярный день — насморчный, настороженный...

Жизнь затаилась, смотрит из угла, качаются уже ненужные золотые шары на проводах.

Второе десятилетие нового века. Что было недавно, а что давно? Или времени и вправду нет, и мы живём на страницах своих соб-

ственных личных книг, перелистывая, вчитываясь, застывая — каждому, как известно, своё...

«Театрального капора пеной», «театрального капора пеной»

В 17 лет мне было совершенно очевидно, что те, кому 22, — взрослые. Граница отодвинулась, естественно, довольно быстро. Отодвинулась, но не ушла. Было, к примеру, поколение дедушек-бабушек.

Вчера одна знакомая сказала мне, что ее муж не может простить своим родителям, что ему в детстве не объяснили: взрослых не бывает. Тоже забавно — человеку 40 с хвостиком, у него постоянное место в университете, правда, еще не профессорское, двое детей...

В детстве существуешь под родительским прикрытием, а в «недетстве» приходится даже незнакомым людям по делу самим звонить!

Когда бредёшь вечером во тьме к автобусу, лучше всего бормотать

«Значит, нету разлук. Существует громадная встреча. Значит, кто-то нас вдруг в темноте обнимает за плечи»

Вот ведь головой я твёрдо знаю, что великим Бродский стал после отъезда, — в средние годы.

А бормочется куда больше — раннего. Да, конечно, в 15, в 16, в 17 заглатываешь стихи, не прожёвывая — ещё, ещё, и читаешь раз, и другой, и на пятый они уже сидят прочно наизусть, и вот услужливо выпрыгивают по тёмным ветреным вечерам, а читанное позже где-то-там-в-углу.

Но обожаемая в 14 лет Цветаева — выскакивает — чаще всего понарошку.

Оживает география. Наши пригороды — наш Медон, соседний Кламар — до войны были дешёвыми, и там селились небогатые русские. Цветаева и Бальмонт в Медоне, Бердяев в Кламаре. У Каверина мелькают знакомые места. И совсем иначе видишь цветущую черешню в крошечном садике, к которой Цветаева в гости ходила.

Что ж — «географии примесь к времени есть судьба»

Стоит в горле истерическим выпендрёжем. Ахматова — ох, не надо перчаток не на те руки.

Хотя, хотя — «лыжный след, словно память о том, что в каких-то далёких веках здесь с тобою прошли мы вдвоём».

А город, который я когда-то любила, который для себя зову Ленинградом, потому что Петербург мне претенциозен и связан с не-

любимой второй культурой, потому что Питер — забавно, но я там, вроде не жила.

Еду к бабушке, к Бабане, в трамвае, дышу на стекло, держу в руках буратинку в красном кафтане, в блестящем зелёном колпаке — боже мой, из какого сора память — этот пропавший потом буратинка вечно возникает где-то на задворках — вместе с пластмассовым слоном — я любила ходить по комнате, вертеть в руках что-нибудь — этого слона, а потом и резинки вертела аптечные, и карандаши, всё на свете — под музыку ходить, теревить что-то, кривляться и думать ни о чём — единственное на свете у меня думанье, которое не в словах — это вот под музыку хождение — зачем, почему. Давно отстала от привычки, лет 20, а то ходила-ходила...

Так вот город этот вспоминаю кожей, когда бормочется «только чёрный буксир закричит посередине реки, исступлённо борясь с темнотою» — и буксир, и река — на ладони памяти.

Любое перемещение в пространстве в место, где продолжает жить кусок собственной жизни — и оказываешься нос к носу с временем.

Видишь тётенек на улице, кажется, они старше лет на сто, ведь ты сам-то такой же, как те самые сто лет назад, а когда вдруг в какой-нибудь бумажке увидишь чёрным по белому свой возраст, не год рождения, а именно возраст, твёрдо знаешь, что не про тебя. И пытаешься представить себе какую-нибудь тётеньку девочкой, своей возможной одноклассницей, и не можешь.

А как наша личная память входит в общую память человечества? Какими ручейками в реку?

Рассказываем чего-то кому-то, вон даже пишем. Клочки чужих воспоминаний перемешиваются с собственными. И на каком-то уровне память становится общим местом, и так хочется, чтоб не уходило личное.

Странное всё же желание чему-то принадлежать, и так принадлежим, больше, чем надо. Казалось бы, наоборот — личное, только своё — так сильно размывается временем, в воспоминаниях всегда столько совпадений. И на какой-нибудь твой день с особенным закатом найдётся чужой такой же.

Бабушка, выросшая в местечке Колышки под Витебском, рассказывала, как на Пасху их неверующая мама тайно от верующего папы, давала детям хлебушек. Любимая бабушка, жившая в квартире на Херсонской улице.

В прошлый приезд в последний мой вечер в Питере мы поехали по делам, а потом решили немного прокатиться. И отправились искать этот дом на Херсонской... Мы очень легко нашли нужную дверь — и вправду — садик напротив, наискосок. А дверь — на бабушкиной лестнице квартира, где Ленин останавливался, и табличка висит.

По дороге думали — вот постучимся к новым русским среди ночи, наверняка сделали шикарное жильё из бабушкиной коммуналки — то-то будет веселье...

Увидели, что открыто, обрадовались, вошли.

И нет там никаких новых русских, наверно. Обшарпанный подъезд перегорожен глухой железной дверью с кодовым замком, на лестницу с широченными подоконниками не пройти.

Надписи на стенах: «И ещё раз бдительность», «Ушла жена? Выгнали с работы? Враг близко. Не спи»

«когда войдёшь на Родине в подъезд, я к берегу пологому причаю».

Такой обшарпанный подъезд, вонючий, с пружиной хлопающей двери, за такими дверями целовались. А портвейна, как ни странно, в подъездах не пила.

Мы бежим через время. Торопимся, спотыкаемся, утыкаемся в запертые ворота — не помним, не помним — сколько ни колоти по зелёному дверному железу, только гул. Когда я впервые попала на любимое озеро в Бургундии? Провал. Дождь, сильный долгий, и мы смотрим в слепое залитое ветровое стекло. Иногда открывается калитка, и за ней неподвижное, высеченное в камне — «гроза моментальная навек» — впервые увиденные сахарные горы в ауле Хурзук. А иногда невнятица — плывёт мокрый усть-наровский лут, залитый жёлтыми купальницами, под деревом в тёмном лесу грушанка — белая невидная, Лешего цветок.

У пространства другие меры, ему десять лет — минута. Вчера под повторяющимся небом цвета земляничного мороженого мы ехали мимо пруда. Под заполняющий машину голос Марии Каллас. Над бетонными коробками, вытягивая шеи, летели утки.

Безжалостное пространство смотрит, всё-то же, — что ему какие-то семь лет. Но изменившееся пространство, дырявое, с берёзами на месте тополей на шестой линии — это пространство предаёт...

А чего хочется, если бы добрая фея вдруг появилась из-за угла? Ведь вот по сути ничего, кроме бессмертия.

Или чтоб звери говорили.

И чтоб книжки умела бы писать.

А что потеряно с тех давних пор — а наверно вот то чтение стихов — сразу — до пупа. И может ещё умение умирать, глядя на незвонящий чёрный уродский телефон. Впрочем, чего о таком жалеть — об игрушечности тогдашних страхов...

На бегу, среди крутящихся в голове мелочей и немелочей, вдруг, попивая не по сезону холодное пиво, в *brasserie du coin* (как их порусски называть — эти маленькие кафешки-ресторанчики, зачастую в тяжёлых декорациях стиля модерн, которые и вправду в Париже на каждом углу), вдруг увидела, как мигающие ёлочные лампочки уходят в зеркало — и несделанные дела, и снежные бабы с дедами Морозами и оленями на стёклах кафе, и странность-невзаправдашность — это я? — и желание что-нибудь такое прочесть-перечесть — про Щелкунчика, но там глупое бюргерство в конце, про Карлика-носа, но мне больше не страшно — «когда я снова стану маленьким, когда я снова стану яблонькой, и снег опять запахнет яблоком», и бабушка пошьёт наряд снегурочки на целлулоидного пупса, а папа отправится в байдарочный поход на Кольский, куда берут «одних мужиков», — зато с мамой в лес за черникой на завтрак, и у одноклассницы устроят дома новогодний «огонёк», и в школе вечер — и я пойду туда с идиотским «греческим узлом» на затылке и буду расставаться, что в нашей французской школе почти нет мальчиков, а те, что есть — провал, не помню, и буду радоваться, что друг мамин — лучшей подруги, которого давно уж нету, и мамы нету, назвал меня красавицей, и буду дома в Новый год танцевать «Школьный вальс» с папиным другом, и все, кого давно уж нет, молодые и весёлые, и я за каменной стеной ворчу, что я нужна только родителям, когда свистнет рак, и дождик летний на сирень в четверг прольётся — и мигают разноцветные лампочки, уходя в зеркало, а бабушкиной гирлянды — той, что из домиков, а в домиках окошки горят, я ни разу не видела ни в одном магазине...

«Останься на нагретом мосту, роняй цветы в ночную пустоту...»

Чух-чух, чух-чух. Давно не видела я паровоза — колёса красные огромные, голос зычный...

«И паром он дышит,
И жаром он дышит;
Идёт кочегар и как будто не слышит.
Не слышит, не слышит,
Как тяжело он дышит!»

Время остановилось, обратилось в смены времён года, которые приобрели своё истинное смысло-образующее значение. Зимой застываешь в тёмном холодном мире, потом взрывается весна, постоянная изменчивость вокруг — малиновым муссом вишнёвые кроны над головой, малиновое вот уже под ногами, над головой пышно-розовое... Огромные лепестки магнолий, как лодки, на асфальте...

Время не тащит за волосы незнамо куда, не мучает постоянным ожиданием, а обтекает, --- а я сижу себе, своими делами занимаюсь — вот и не умерла ещё от страха...

Чух-чух-чух...

ФЕВРАЛЬ



Не знаю уж с чего, но в пятницу вечером Бегемот — хочется сказать — нашёл на полке пыльный ютуб, где Окуджава поёт «последний троллейбус»... Молодой, ещё не лысый, куда моложе, чем я сейчас, Окуджава едет в автобусе того вида, который я, вроде бы, и не застала, или не помню совсем, — с торчащим, как кабина грузовика носом, — и поёт под гитару, а по обеим сторонам от него экзотические девицы. Периодически камера переходит с Окуджавы с девицами на некоего мрачного человека средних лет в кепке, глядящего в окно. А за окном московская улица — сталинские серые дома, вывески магазинов — универмаг, гастроном. Действие происходит во время московского фестиваля 57-го года, и тот вот мрачный человек средних лет, —уголовник-рецидивист, видимо, главный герой. Он заходит в автобус и видит гитариста с девицами разных национальностей, а потом знакомится (в автобусе?) с умирающим онкологом и тот ему говорит «спешите делать добро». И уголовник под впечатлением всех этих встреч перевоспитывается.

В общем, легко себе представить, что за свинячий бред этот фильм, в котором Окуджава поёт про троллейбус. Недавно я разго-

варивала об Окуджаве... Начали мы с попытки найти у него песни, которые что-то скажут человеку, находящемуся вне контекста времени, когда они писались и пелись. Естественно, дальше разговор стал более общим. Я настаивала на том, что контекст в любой литературе невероятно важен, и вне контекста нет восприятия... Для меня не только в литературе, но и в жизни — контекст — чуть ли не самое важное.

Время — это цвет трамваев, троллейбусные усы, запах антоновки на сентябрьском рынке. И какая была погода в день, когда произошло что-нибудь страшное или хорошее.

И я в очередной раз подумала про механизм ностальгии.

Мы уехали в 79-ом, и отъезд тогда был спуском в царство мёртвых, может быть, в замечательное царство, но в царство, откуда не возвращались, куда не могли дотянуться живые... Первые годы, по крайней мере, для многих из уехавших в Америку, оказывались исключительно тяжёлыми морально — почти у всех оставались прочные связи дома, почти всем было чрезвычайно трудно приспособиться к чужой культуре.

Ну, и слова «навсегда» и «никогда» — очень страшные слова.

Одним из главных событий дня в эти первые годы был приход почты. В субботу мы караулили почтальона, бегали к ящику двадцать раз. В будни, возвращаясь домой, я подкрадывалась к окну (жили мы на первом этаже), чтоб через окно посмотреть, не лежит ли на столе авиа конверт с полосками, целый ритуал был — подойти сначала к окну, но не смотреть сразу, наоборот, зажмуриться, потом разом открыть глаза и увидеть или не увидеть... Естественно, что строчки «здесь снится вам не женщина в трико, а собственный ваш адрес на конверте» воспринимались мной через этот вот опыт первых лет.

А возвращение всегда — стык времени и пространства. Если всё хорошо, если без разрушений, мы приезжаем через год, через пять, через десять — и говорим, что пространство то же. Темы и вариации. Многим в детстве хотелось стать археологами — после книжки «Боги. Гробницы. Учёные» — и правда, удивительно — черепок — стык времени и пространства — земля сменилась, трава...

И время, проходящее через человека, остающееся в нём, и пространства накапливаются за жизнь тоже.

Вот я гляжу на эти серые дома с вывесками — пласт любви и памяти поднимается на поверхность.

Лоскутное одеяло. Рваная киноплёнка — губы движутся, а звук убрали.

О чём, о чём?

Напротив нашего дома на Шестой линии — церковный садик. В маленькой, не лишённой изящества церкви была какая-то мастерская. Кружусь по дорожке, обхожу садик вдоль забора — с кем? Кажется, вспомнить сейчас, о чём-почему, — и та жизнь сомкнётся с этой. Ложная непрерывность, в которой складываются минуты. А на самом деле, есть только эти обрывки, лоскутки. Где-то ходят девочки по садовой дорожке, а что я про них знаю?

А что знаю — выцвело, превратилось в пыльную запись, пересказано тысячу раз.

У мамы зимой чёрная старая шуба и голубой шерстяной берет. Над школой луна. Мама со знанием дела говорит нам, что по вечерам в школе учатся собаки. Мы живём в коммуналке, поэтому у нас собаки нет.

Включите звук!

Двор-колодец, телефонов нет, и как в деревню — со дна на пятый этаж — Ленаааааа.

Всё это тактильное, обонятельное, всё это потроганное, замусоленное — где оно теперь? Вот ведь чего не постичь — что не выйти к тем девочкам, в те комнаты. И жизнь их хрупка, потому что мы их — забываем. Живёшь и забываешь. Выключают звук. И остаётся кружение по саду. Собственно, огромная часть искусства по сути ностальгична, — выведение в слова, в музыку — опыта, памяти. Как известно, и таракана без любви не изучишь — значит, и в памяти о прошлом — сначала любовь — почти к любому прошлому — кривому, убогому, к себе самому, входящему в эти серые магазины, в которых ничего нет. И подарком случайно найденная улочка за Лионским вокзалом — маленькие домики, садики-огородики, лопух, — в домиках живут в городе деревенской жизнью, бельё по-итальянски сушат на балконах, а в некоторых домишках мелкие типографии, контора по дублированию фильмов — кажется, каждое из заведений за окном с вывеской, — помещается в одной комнате.

По сути вопроса — лучший ответ — «галoши счастья» — удивительно, что Андерсен, слащавый богобоязненный Андерсен — иногда поднимается до мудрости. А в искусстве — без галош счастья — никуда — из помнить и ненавидеть — без источника любви, — рождается только чернуха.

Как-то поставили в машине старую запись Никитиных, где они поют — что-то лучше. что-то хуже — самые разные стихи. Я «детей юга» всегда любила, но, удивительным образом, читала, видимо, не вчитываясь, особенно не задумываясь. А тут вдруг осознала, о чём это. Проверила, когда написано — да, конечно, в 58 году, поздний Эренбург... Оттепель. Я к Илье Григорьевичу всегда относилась хорошо, прощала ему и то, что он хитрый еврей-царедворец, и враньё и недоговорённость в «Люди. Годы. Жизнь», и неталантливость «Падения Парижа» — за «Хулио Хуренито», за «Улицу Ищи полдень», за «Фому неверного», ещё за какие-то стихи, да и человеческая симпатичность, не говоря уж об уме, всегда проглядывала. И даже в безобразном «Падении Парижа» нежность к городу пронзительная. А тут, посмотрев новыми глазами на «детей юга», я через всё его царедворчество, через всю его удачливость, так остро ощутила эту тоску свободного человека в железных клешнях двадцатого века...

Да разве могут дети юга,
Где розы плещут в декабре,
Где не разыщешь слова «вьюга»
Ни в памяти, ни в словаре,

Да разве там, где небо сине
И не слиняет ни на час,
Где испокон веков поныне
Все то же лето тешит глаз,

Да разве им хоть так, хоть вкратце,
Хоть на минуту, хоть во сне,
Хоть ненароком догадаться,
Что значит думать о весне,

Что значит в мартовские стужи,
Когда отчаянье берет,
Все ждать и ждать, как неуклюже
Зашевелится грузный лед.

А мы такие зимы знали,
Вжились в такие холода,
Что даже не было печали,
Но только гордость и беда.

И в крепкой, ледяной обиде,
Сухой пургой ослеплены,
Мы видели, уже не видя,
Глаза зеленые весны.

У Улицкой есть рассказ о пуделе Ирины Эренбург. Улицкая, естественно, никого по имени не называет, но там всё ясно. Во время войны пуделю пришла повестка в военкомат. И Ирина повела его на призывной пункт. Разговорилась в очереди со стариком с овчаркой. Сказала ему, что не понимает, чем её пудель может быть полезен — ведь ему не стащить раненого. Старик посмотрел сочувственно и ответил, что на небольших собак надевают сумки со взрывчаткой и посылают их под танки.

Ирина встала и ушла, и прятала пуделя всю войну у подруги... И приехавший отец посмеивался и звал его «наш дезертир».

И пудель прожил очень долгую жизнь, и пережил не вернувшегося с фронта мужа Ирины, и Эренбурга пережил, и похоронен на холмике в Переделкино...

Есть люди с ностальгией по войне — об этом у Солженицына в «Круге», по крайней мере, в первой версии, очень хорошо — про то, что для Щагова вершиной жизни стала война, а для Нержина (самого Солженицына) — тюрьма. И по тем же причинам он описывает неплохой день в жизни Ивана Денисовича — такой, который вспомнится со словами — всюду жизнь.

Сначала был «Иван Денисович». Не помню только, в изъятой из библиотек «роман-газете», или в «Новом мире».

Наверно, я тогда училась классе в 8-ом. А в десятом классе к экзамену по устной литературе готовились по билетам. Мы с подругой Олей собирались по Ивану Денисовичу «раскрывать тему труда». Год был 71-ый. На наше счастье и на счастье нашей учительницы ни мне, ни Оле этот вопрос не достался.

Одна родительская знакомая рассказала, что в Москве в дом, где она гостила, как-то по делу зашёл кавторанг. Все знали кавторанга из «Ивана Денисовича». И услышать, что кто-то вправду его видел, было очень приятно.

Потом «Матрёнин двор», «Случай на станции Кречетовка». И наконец «Круг» — перефотографированный — 4 страницы на листе А4. Папа читал его вслух по вечерам — маме, мне, Оле, её папе. Я до сих пор помню «Круг» остро и отчётливо, перечитывала его много раз в 10 классе, на первом курсе. В течение пары лет это была главная книга. Учебник. Герои «Круга» — родные и близкие, поведение

их примерялось на себя. И когда мой московский дядя, к которому я раз в год ездила в гости и не возвращалась без новых книг или хоть имён, говорил, что Солженицын о любви пишет евнуховато, я вспоминала Симочку и таяла, и не соглашалась. А дядя ухмылялся — «ну, ты этого ещё понять не можешь».

Уже в эмиграции я перечитала переделанный «Круг», теперешнюю версию — и тихо завyla. От той любимой книги не осталось и следа. Чужое лицо. Иннокентий спасал врача, а не поставлял шпионские сведения!!! А рассуждения о русской живописи, о том, что в ней был не только Левитан, иначе откуда взялись бы народовольцы, Желябов, Ленин — куда делись? Солженицын делает вид, что всегда знал, что революция — это зло. Я никогда не поверю, что первая версия написана с оглядкой на цензуру — она-то как раз настоящая даже и в злости и глупостях настоящая — с наивным Иннокентием, с истинным коммунистом Душаном Радовичем.

А ещё были крохотки — четвёртый экземпляр под копирку. «Деревня Льгово — древний город Ольгов» — так, кажется? Город на высоком берегу реки, и сжимается от простора сердце.

Папа откуда-то достал фотографию Солженицына, и она стояла у нас на письменном столе. Мы с Олей думали о том, что надо бы поехать к нему в Рязань — спросить, делать ли революцию, или можно немного погодить.

Когда же начался спад? Когда пришло раздражение? Как угадать точную минуту?

«Бодался телёнок с дубом»? Неблагодарность, самодовольство, поза пророка?

Или позже? «Гулаг» я прочитала году в 78, в «тамиздате». Честно говоря, без особого интереса. Вроде, ничего нового там и не было.

«Раковый корпус» уже в Америке. Средняя литература. «Август 14-го» не осилила — так плохо написано, так неубедительно.

Больше я Солженицына читать не пыталась. Глухое раздражение и стыд за него. Солженицын, объясняющий испанцам, что Франко замечательный, Солженицын с поднятым пальцем учит Запад жить.

Чем дальше, тем хуже — моральные сентенции, глупые поучения, ненависть к моему любимому Синявскому — вечному воплощению независимости — под ручку с подмигивающим Терцем.

Не любить Солженицына стало общим местом — а за что его любить? Несколько лет назад я перечитала «Жить не по лжи» и обомлела. В разгар тысячелетнего рейха советской власти, железной

скрипучей перемалывающей системе сказать — не боюсь — не боюсь, и всё тут. Прямо в морду сказать...

Как можно было забыть, что он это сделал?

В который раз за последние годы в ушах — «когда погребают эпоху».

Нет, эпоха Солженицына прошла очень давно. Протопоп Аввакум, вставший против системы с её танками и пушками.

Уходит очень личное — уходит моё детство, моя юность. Мир сменил кожу, и ещё чей-то уход — звонок.

Нет Лема, нет Воннегута...

Нет Феллини, Бергмана, Антониони...

Нет Синявского, Копелева, Галича, Максимова, Солженицына...

Кажется, что тех, кого нет, уже больше, чем тех, кто есть...

И страсти, вражда, разговоры-разговоры — под слоем пепла — Помпея ли, шестидесятые...

Родителей тоже нет...

Вот и смотришь на серые улицы на экране, на вывески — и это значит — все живы и молоды, и водородный московский шарик улетает на потолок, и будущее такое огромное, что его даже и нет ещё, и блестящие зелёные крышки от кефира, и полосатые от простокваши.

Около остановки, где я пересаживаюсь с одного автобуса на другой, стоит домик.

Дорога, по ней хищно несутся машины, а сбоку и чуть ниже маленькие улочки, красные крыши, садики. У тех домов, что стоят на нижних улицах, но примыкают к дороге, садики карабкаются на неё. Вдоль тротуара заборы, за ними густые кусты, колючки, чтоб как-нибудь отгородиться от скрипения, визга, механической жизни. С дороги за заборы не заглянуть. Но вот если встать на ступеньки, по которым спускаются на нижние улицы, то всё, как на ладони.

В домике возле остановки жили папа, мама, две девочки, собака и кошка, цвели айва и слива. У девочек в саду стояла палатка, валялись игрушки. Папа в тренировочных штанах сидел за столиком в саду с компьютером. Бельё сохло на верёвке. Собака продиралась через кусты к забору. Как-то раз мне удалось через дырку потрогать её за нос.

Напротив через улочку дом с застеклённой верандой, на веранде дог, щен лабрадора, и тоже две девочки.

Четыре девочки, три собаки и одна кошка проводили много времени вместе — то в одном из двух садов, то на почти пешеходной

улице между домами, определённо обсуждали что-то секретное, как мы когда-то с дачными соседками.

Несколько дней назад, подъезжая к остановке во тьме, я подумала — а сейчас посмотрю...

И увидела — тёмный сад и надпись «продано» на окне.

Надеюсь, что всё у них хорошо, что они просто переехали из домика у дороги в какой-нибудь другой, может быть, даже лучший, домик...

С кем теперь будут играть девочки из домика напротив?

На кого буду я глядеть и вспоминать лето?

Вчера зашёл почему-то разговор о попадании через много-много лет в любимые когда-то места...

Такой есть посёлок Колосково — километрах в восьмидесяти от Питера. Мы снимали там дачу, когда мне было четыре года.

Каждое утро начиналось с обхода огромного участка — следовало отыскать все покрасневшие за ночь земляничины.

Ещё был шалаш, даже в дождь там было почти сухо.

Однажды Мишке, моему троюродному брату, разрешили не спать днём, потому как к нему в середине недели вдруг внеурочно приехал папа. А мне не разрешили. Было смертельно обидно.

Я бы с удовольствием съездила в Колосково — но только на чёрном красавце-паровозе с громадными красными колёсами — он пыхтел, пронзительно вскрикивал, колёса медленно поворачивались, — мне становилось холодно в животе от страха.

Вчера в лесу мы возвращались к машине под хлещущим дождём, под дальним громом, и асфальт велосипедной дорожки пах — мокрой весной и чуть-чуть прибитой пылью...

МАРТ



Задувает то мёдом, то клейким тополем, бумажки вздрагивают на столе. И какая-то птица не умолкает — удивительно, как я не могу научиться различать голоса — совсем близко, на какой-нибудь ветке под самым ухом, невидимая в окне под потолком — дзззинь.

Раз в году даже палка стреляет, — даже не на славных задворках, где жизнь в садиках копошится, где комья земли по утрам ворочают, — на серой промышленной улице, по которой в кампус от метро идут, в этой никакой безликости — тоже розовые вишни прижимаются к беспмятным бетонным стенам. Открытые окна, ветер — не пронизывающий, не давящий на кожу — тёплый, скользкий. Дни один за другим катятся — «роскошно буддийское лето» — в марте. И под деревьями уже лежат, вздрагивая, лепестки, — не ковром ещё, — так, предупреждением.

Можно попытаться сосредоточиться, или наоборот расслабиться, и выхватить очередную картинку — память — такой сундук, где свалено в беспорядке, — но иногда вытаскиваешь, пыль сдуваешь, начищаешь до блеска. На тополе две сороки и две вороны строили гнёзда, периодически щёлкая друг на друга клювами — сорока с

прутиком, ворона с веточкой. Человечья точка зрения о беззаботной жизни небесных птиц — получается, что беззаботность одним определяется — движением по воздуху. Ходишь по земле, плаваешь по морю — не так всё просто, а стоит взмахнуть крыльями — и оказывается, что заботы за тобой не поспевают, они внизу остались. Вот и вышли в окно Лужин и Цинциннат Ц...

А потом совсем другая ворона прилетела на плоскую крышу, прямо под моим окном. Она стала завтракать по-французски — принесла с собой краюху хлеба, — отщипывала от неё куски, погружала их в лужу, совсем как французы в утренний кофе круассан, и ела. Всё не съела, прилетела другая ворона, с которой первая добровольно поделилась.

А я вспомнила про коров в в Дордони — их привезли на луг, и они соскочили с грузовика и помчались по траве, радостно вскидывая ноги...

В этом сундуке валяется картинка, почему-то важная, часто выхватывается — вечером на закате в нашем лесу — кукушка, заросли крапивы, бревно поперёк дорожки. Кстати, если картинку слишком часто трогать — истреплется, запачкается.

Сначала была мартовская Вена, где по вполне ощутимому холодку народ ходил в расстегнутых куртках и без шапок, а по вечерам еще и с воздушными шариками, и с улыбками. Потом Рим с кошками, шляющимися по Колизею, в который пускали тогда бесплатно, с фонтаном Треви, куда можно было опустить ноги и не услышать тут же полицейского свистка. И было совершенно безумное, сильнейшее ощущение свободы. Оно было просто во всем — в одежде, в праве плюхаться на улице на любые ступеньки, в бормотанье «к всечеловеческим, ясным в Тоскане», глядя сверху на Флоренцию.

Потом нам дали визу в Америку, и мы уехали.

Этот первый год эмиграции был годом чудовищной ностальгии, мы думали, что по России, а оказалось, что по Европе.

Первый год в Париже мы прожили в самом центре в крошечной квартирке — мне тогда казалось немыслимым не в городе, не в гуще — ведь неизвестно было, удастся ли в Париже поселиться, не придётся ли возвращаться в Америку. Совсем другая жизнь — вечерняя улица, столики, люди.

В первый вечер в Медоне на автобусной остановке — глухая тоска грызущая — маленькие домики с садами, не-город, не-гуща, не-мелочь событий.

А сейчас, когда поднимаюсь летом по эскалатору, и острый запах свежести и леса, — вот ведь — какая неоригинальная эволюция — впервые я поняла, что в жизни вне большого города может быть прелесть, когда год прожила в Альпах, в Анси.

Когда-то улевость квартирному дому была почему-то залогом безопасности.

А сейчас очень хочется собственной грядки и дерева, — ну, хоть балкона, чтоб чай пить.

Наверно, уменьшается нужда в потреблении культуры, и увеличивается — в негородском пейзаже. В субботу мы ездили на Сену — в кизиловую рощу. Мне очень хотелось посмотреть, как кизил цветёт. Почему-то мне казалось, что будет белое вишенное кипенье, но кизил цветёт, как бочкотара, — жёлтым мелким цветом. И только увидев это жёлтое цветенье — по склону, от гребня вниз до полей на берегу Сены, я осознала, как огромна наша кизиловая роща — целый лес. Можно было бы понять это и раньше — шли ж осенью по тропе, наступая на ягоды, под свисающими гроздьями. Деревья в ягодах —прекрасней цветущих, и всё равно, только увидев цветенье, я окончательно познакомилась с кизилом, до того — это был урожай, что-то пригодное к потреблению, а теперь — бескорыстное знакомство с деревом. Кизиловый лес на берегу Сены.

А день был серый тихий холодный. И солнце так и не пробило кисей в воздухе. День совсем без неба.

Но может, в такие дни проще оглянуться, чем в слепящие сияющие.

Влажная глина проскальзывала под ногами. Белые и розовые вишнёвые деревья стояли неподвижно у пустых дорог. Коричневая вода Сены топорщилась гусиной кожей.

Тоненькие магнолии подрагивали на пригородной улице...

Только выставка Моне за долгое последнее время по силе и способу воздействия не слабей какого-нибудь выхода к морю в Бретани.

В принципе, основной невроз — время, уходящее сквозь пальцы, — бывает эскапизм — чтение любимого, а уж если никуда не удрал, так, вроде, — твоя ответственность за целостность собственного мироздания — того, на которое падает взгляд — и булочную не забыть, и полуголого человека с граблями в парке, и дрозда в гиацинтовой клумбе.

Вот вчера у нас в гостях была очаровательная женщина, можно сказать, что в возрасте: ей 91 год. Она играет в шахматы в район-

ном клубе и сейчас собирается на турнир в Тур. В ближайшие планы этой нашей приятельницы входит овладение компьютером.

Изредка она все-таки пускается в воспоминания, всегда, впрочем, очень короткие и по ходу разговора. Вчера она сказала, что перечитывает Бунина и не понимает, за что ему дали Нобелевскую премию — все рассказы у него друг на друга похожи. Правда, выяснилось, что ее мнение о Бунине связано с неприятным личным воспоминанием о нем. В 30 году в Париже она была на благотворительном балу общества врачей. Это был ее первый бал, имело место даже бальное платье. И вот пригласил ее неприятный старичок, во время танца пытался ее тискать, что ей не нравилось. Это и был Бунин.

Краткий рассказ о Бунине (вообще-то напомнимши мне о столетии Ленина, когда старые большевики вспоминали, кто видел Ленина в бане, а кто в гробу и в белых тапочках) навело ее на еще одно воспоминание о том же годе. У нее был тогда жених, проживавший в городке под названием Комбре, в который из Парижа ездят с Северного вокзала. И однажды, когда она провожала жениха на вокзал, они перед поездом зашли в кафе. В кафе за каким-то столиком сидели два человека — один с усиками, а другой толстый, и разговаривали по-немецки. Наша приятельница учила немецкий в школе и очень его любила — она решила воспользоваться случаем и заговорить с незнакомцами. Как только она к ним подошла и что-то спросила, оба немца, ни слова не говоря, встали и ушли. Ей такое поведение показалось крайне невежливым, и она возмущенно сказала жениху, что, дескать, немцы-то все-таки хамы. На следующий день взволнованный жених ей позвонил — фотография того немца, который с усиками, появилась в газете — это был Гитлер. Тогда он был еще всего-навсего главой партии.

А вот еще.

В Париже есть кафе «Прокоп», где как-то раз еще в монархические времена вместе выпивали молодые адвокаты, снимавшие одну мансарду на двоих — Робеспьер и Барас, лейтенант Бонапарт, кузен Людовика XVI-го Филипп, который в начале революции назвал себя Филиппом *Egalité*, и Дантон. Прошло года четыре, — Робеспьер казнил Филиппа, еще через годик — Дантона, еще через полтора года Барас арестовал и казнил Робеспьера, а в 1799 году Наполеон Бонапарт спустил Бараса с лестницы Люксембургского дворца.

Короче говоря, «12 негрятят пошли купаться в море...», или «А И Б сидели на трубе».

А мы... Ели на завтрак блины за уличным столиком — под жужжание шмеля в огромном магнолиевом цветке над головой.

А на Ваську сегодня напал философский стих. Он решил запоздало возмутиться тем, что в школе его учили всяким глупостям — к примеру, делению на единицу, — «всякому же понятно, что на единицу ничего не разделишь, — хоть кошкин хвост дели» — сказал он, глядя на Гришу — «он при кошке останется». «Мряк-мряк-МРЯК» — не одобрила Гриша деления хвоста. Вряд ли Гришка войдёт в красную книгу выдающихся котов — не с Котом в сапогах быть ей под одной обложкой. Но она изменила моё отношение к котьему семейству. До Гришки коты были для меня — как домовые — в доме должен быть кот, но в особо близкие отношения я с кошками я не вступала. Сохраняя дистанцию. С Гришкой — другое дело — она ведь ПЛОХАЯ кошка, бес в котиной шкуре. Отважная плохая маленькая кошка — смысл её жизни в том, чтоб кусаться и беситься. У неё любимая игрушка — серая усатая плюшевая крыса из Икеи, ей её *liber polly*¹ подарила. Пару дней назад я нашла это бродящее по квартире плюшевое животное в одном из любимых гришиных спальных мест — в ванне — Гриша прыгнула туда с крысой в зубах, не иначе. А это вызывает некоторое уважение. Катя, например, не будет с палкой в зубах не только прыгать, но даже и писать — обязательно палку положит. Гриша спит в мисках и кастрюлях, а во сне ей, наверно, снится, что она стала наконец Тигрой, и больше не может всякий встречный-поперечный схватить её и выкинуть из запретной гостевой комнаты Синей Бороды, где стоят горшки с растениями, из которых можно выкидывать землю прямо на кровать.

Гриша любит сидеть у кого-нибудь на коленях — но если эта двуногая подставка протянет к ней дружественную неуважительную руку — поднимается серая лапа и хлопает по руке, или хватает руку и тащит в зубастую пасть. Однажды, поев своих котиных консервов, Гриша обтёрла морду о свитер стоявшей рядом пога_неко.

С Гришей можно вести беседы. «Плохая кошка, что ты замышляешь, и ведь не спишь, а притворяешься». Открывается глаз наполювину — «мряк».

Каждый человек встречал на жизненном пути выдающихся котов, — выдающихся женщин, может, и не всякий, а уж котов — наверняка. К примеру, кошка Синявских была достойна лавров профессора из рассказа Конан-Дойля — того, что, влюбившись в свои

1. Здесь и далее упомянутые как имена ники «Живого Журнала» и клички домашних животных перечислены в конце книги. — Прим. редактора.

преклонные года в юную девицу, принимал обезьяний гормон для омоложения, и в результате раз в месяц по ночам карабкался от избытка сил по стенке на второй этаж и, заглядывая в спальню, пугал своим бешеным видом собственную дочку. Кошка Синявских брала пример с этого достойного профессора. Она взбиралась на второй этаж по разросшейся толстой глицинии и стучала ночью в окно гостевой комнаты — преимущественно, когда Синявские были в отъезде, и гость в одиночестве охранял дом и кошку. Эта же кошка по имени Каспар-Хаузер имела обыкновение устраиваться перед метровым в диаметре прудом с кувшинками и вылавливать оттуда лапой зазевавшихся золотых рыб — по свойственной котам и людям бессовестности она их не ела, — брезгливо кидала на дорожку.

Про кота Тараса я слышала от мамы и в моём детском воображении это был серый великан, доблестный охотник. Он проживал у моей тётки в деревне, куда она уехала по распределению после мединститута. И носил ей в кровать мышей и крыс.

Вчера был день Котов, — говорят, — котиный, говорят день — ну, ясное дело, — 8-ое марта — международный женский день, 1 марта — международный котский день. Но по-моему, коты заслужили месячник. Вот в Советском Союзе бывали, скажем, месячники уличного движения, когда пешеходов давить надо было с осторожностью, или даже вовсе не давить, а наоборот дорогу уступать.

А в марте — пусть будет месячник котов.

АПРЕЛЬ



С апреля до конца октября — вечный праздник, потом перерыв на будни до Рождества, а потом ещё один перерыв — с января до весны.

Я в очередной раз убедилась, что в музыке у меня определённо тоталитарное мышление — вполне обошлась бы Гульдом, играющим Баха (у меня впечатление, что Гульд не исполняет, не служит промежуточным звеном между мной и Бахом, а перевоплощается даже не в Баха, а в некую суть мира в этой музыке, в то время как прочие исполнители, даже самые лучшие, всего лишь играют) и Шопеном — ещё одной сутью мира.

Самого любимого исполнителя Шопена у меня нет.

Ну, и ещё Армстронг, иногда с Эллочкой. Особенно «Summer time» и «I went down to the St. James infirmary». Но не только...

А больше можно мне ничего и не давать.

И в кино у меня тоталитарное мышление — могу обойтись одним Феллини.

Я смотрю «Амаркорд» так, как читаю стихи. Те, которые бормочу под нос. Те, что прокручиваются в голове картинками, стоп-кадрами.

Жду кадров так, как жду строчек. С таким же всегдашним нетерпением этого ожидания.

Вот павлиний крик, вот летит павлин, вот садится на заснеженный фонтан. Распускает хвост.

Сумасшедший дядя на дереве раскидывает руки и кричит «voglio una donna».

Машина мигает фарами — её трясут мастурбирующие в ней мальчишки.

Гудит гигантский корабль.

Мать подростка-Феллини снимает и надевает на исхудавший палец обручальное кольцо.

Огромный вол с длинными рогами появляется из тумана, маленький мальчик смотрит на него из-под капюшона.

Тётки на рынке вертят задами, рассаживаясь по велосипедам.

Если бывают стихотворения в прозе, то «Амаркорд» — это поэма в кино. Вообще-то я не люблю поэм — может быть, цикл лирических стихов в кино?

Какое, наверно, счастье — родиться Феллини, или Шагалом, и как тяжело — родиться Бергманом, или Мунком.

Когда в Америке я решила, что неплохо бы вывести английский язык на более пристойный уровень, я приняла эпохальное решение — прочесть «Сагу» с выписыванием слов. Самое смешное, что мне это удалось — единственная книга, которую я так прочла. Выписывала, выучивала... И только прочитав «Сагу» по-английски, я осознала, что от меня всё время ускользало очень важное, хоть Голсуорси об этом важном прямым текстом пишет — погоня за ускользающей из рук красотой.

Люди делятся на две категории — на тех, кто любит жирненькое масляное мороженое — из таких лучше всех флорентийское, и на тех, кто любит сорбеты — тут уж нет равных бертийонскому — шарики манговые, грейпрутовые, все классические клубнично-малиновые, ясное дело — не выбрать никак.

Вчера я купила себе два шарика — горько-шоколадный и красносмородиновый. Красная смородина — любимая ягода моего детства — кислая-прекислая.

В единственной книге Кундеры, которую я люблю, в «Непереносимой лёгкости бытия», есть рассуждение о том, что у каждого — своё любимое общее место, свой любимый китч. У Кундеры героиня говорит о доме с лужайкой и выводке детей на лужайке, как о своём китче.

Вчера я наслаждалась тем, что я брожу одна по городу и фотографирую — я так давно не бродила одна, обычно по Парижу гостей вожу.

А что ещё в апреле хорошо — это проснуться в воскресенье в семь вечера под открытым окном, за которым пухлые облака.

Над прудом туман — срееер — крючками за воду цепляется — движения вкрадчивые — отцепил крючок — подцепил крючком — как по-русски — ну, не ползёт же в самом деле — ползут по-змеиному — шуршат — не цепляются.

Наконец — крадётся — кррр — крючком.

Задрала голову — тополя пирамидальные в красном сиянии — следующая стадия — золотая.

В первый раз видела пирамидальные тополя на станции «Иловайская» тридцать с небольшим лет назад. Граница юга — пирамидальные тополя.

Каштаны — вот-вот, ещё одно усилие — толстые зелёные почки взорвутся.

Около какого-то дома в саду в середине неба ёлочная крона и рядом туевая — сколько ж им лет — вот интересно, живут ли в доме из поколения в поколение — или кто-то купил с ёлкой и туей.

И разные вишнёвые ночью распустились — бегала по мокрой траве, пытаюсь дотянуть аппарат до веток. В кампусе, в тихом углу, за калиткой — цветы камелии, сорванные дождём, на траве валяются.

И среди нарциссов утром распустились тюльпаны.

И закрыли для машин маленькую лесную дорогу, потому что у лягушек и жаб весенние перелёты.

Люди, родившиеся в 60-х, получили результаты 68-го на блюдечке с голубой каёмочкой, уже второе поколение выросло, которому не приходилось бороться с косностью старших, для которых данность — отсутствие жёсткой иерархии, отсутствие чётко очерченных возрастных границ, всеобщее «ты» на работе, возможность одеваться, как хочешь, обниматься на улицах, снимать лифчики на пляже — все те радостные свободы, которые принёс 68-ой.

Бывают дни, когда удивительным образом сходится время с странством и возникает глупое чувство бессмысленной радости, не буйной, а покойной — ленивое ощущение правильности твоего нахождения в данной точке в данный момент.

В Alcazar все цитрусовые: апельсины, мандарины, грейпфруты.

Улицы — просто коридоры. Темные высокие. Патио — очень много горшков с цветами. Высокие пальмы — ветер в кронах. Сладкий запах в садах. Уйма жасмина. Белые голуби, как на персидских миниатюрах. Что-то вроде ястребов с коричневыми крыльями гнездятся в соборе и летают над ним. В Кордове на реке в кустах небольшие белые цапли? Белый голубь, притаившийся на фикусе, в первую минуту кажется наростом, искусственным предметом, обрывком полиэтилена, фонарем. Корни фикуса внешние узловатые сосновые. Только темней и больше. А олеандры совсем не так заметны, как в Италии. Длиннющие пальмы и фикусы с них же ростом. Аляповато, как в России. Нет итальянских охранных стен. Все в керамических плитках. Один из моих любимых южных запахов оказался кипарисом, мокрым кипарисом после дождя. Буйные сады: ослепительная бугенвилея на стенах, переплетение всего вообразимого, включая бананы, мраморные фонтаны посреди.

По-моему, я поняла, почему всё во мне ошетиливается от постмодернизма — я подозреваю, что он делается людьми, утеревшими способность радоваться по-собачьи, получать наслаждение хоть от улицы, хоть от леса, хоть от крючочков на бумаге.

Ну, а ежели радоваться не получается, так и печалиться тоже не выходит...

В солнечные дни не поверить, что бывает дождь. Жарит солнце с сине-лилового неба. Очень симпатичные андалузские лошади. Белые. Такие, будто их полировали, а не только мыли. Из Кармоны можно выйти в степь. Слегка волнистую. Запах горячей травы и цветущих деревьев. Большинство площадей — апельсиновые деревья кругом, в середине фонтан, аляповатые скамейки в керамическую плитку. На крыше церкви в Кармоне, на крыше какой-то башни в Santerponcho аисты в гнездах. Общее с Россией: нет ощущения, что себя любят. Уйма грязных мусорных пустырей. Бесконечно уродливое новое строительство. Жилые дома и пустыри, практически нет кафе, столиков на улице, которые делают что-то человеческое из итальянских и французских новых кварталов.

Когда Советский Союз кончился, и, увы, у Запада исчез показательный дурной пример. Не надо больше предоставлять визы всем желающим, чтобы доказать, что у нас свобода передвижения, можно не пускать людей по приглашению. Много чего — можно! Стали меньше говорить о правах и больше о государстве. В Америке стал Буш с моральными ценностями — изжеванными и тупыми.

Интересно вот, это в скобках, напечатали бы сейчас «Лолиту», или посадили бы автора в тюрьму за педофилию? Пари?

Во всем мире исчезли новизна и радость недавно завоеванной свободы, увеличилось число «приличных» туристов, которые покупают сувениры, так что увеличилось и количество сувениров, еще увеличилось число менеджеров. Получить университетскую работу стало намного труднее, как и любую не управленческую. Большинство scaskpots старше среднего возраста, и встречаешь иногда на улице мужиков с седыми полыселыми хвостиками.

Меня очень заинтересовали взаимоотношения Паустовского с советской властью — причём, с довоенной советской властью. В поздние-то годы он несомненно её не принимал.

А вот в тридцатые, похоже, что был новыми порядками очарован. И меня заинтересовал механизм этой очарованности.

Мне кажется, что Паустовский верил в то, что писал, и что часть деревенских жителей и, возможно, очень немалая, воспринимала перемены, пришедшие с советской властью, вполне положительно. Ведь, насколько я понимаю, в тех приокских местах, о которых он пишет, голода не было. А дореволюционные нищета и дикость были очень велики. То есть нельзя исключить, что для какой-то немаленькой части деревенского населения открывшийся доступ к образованию и, скажем, отсутствие необходимости батрачить на конкретного хозяина, были чрезвычайно положительными явлениями.

Мне трудно поверить, что если б Паустовский жил в деревне, по которой коллективизация прошла голодом и гибелью, он смог бы так мирно писать про рыбалку и лес... Скорей, как Ромену Роллану, как Фейхтвангеру, ему очень хотелось обманываться и верить, что вот оно на пороге — щастье для всех...

В конце восьмидесятых закончились семидесятые, те семидесятые, которые результат и вершина шестидесятых.

Если честно, очень многие их достижения, конечно, остались, но еще и пустота, которая неизвестно чем заполнится.

Всего два раза в жизни я столкнулась с человеческой реакцией на Брежнева того времени — один раз у собственной матери, а второй раз в мемуарах Жискара д'Эстена — и маме, и бывшему французскому президенту было жалко бедного старика, которого каждый день мучили — одевали, обували и везли в присутствие. Но я не об этом — я о появившейся в последнее время у совсем молодых ребят ностальгии по Советскому Союзу. Представить себе в конце семи-

десятих, что по этому дряхлому, впадшему в маразм строю, можно будет ностальгировать из будущего, естественно, было нельзя.

Конечно, потребность в романтизации прошлого всегда есть — в семидесятые встречались люди с совершенно маразматической тоской по господам белым офицерам, которых они себе представляли не пьяными малообразованными обормотами, а всадниками на белых конях.

Уж не знаю, что именно представляют себе тоскующие по советской власти, но вряд ли — несчастного мутноглазого старика, прогневшую картошку, очередь за луком и запрет врачам выписывать лекарства, которых нет в аптеках и больницах.

Мечеть в Кордове напоминает лес. Ходишь среди колонн, как среди стволов. И полутемно — будто свод ветвей над головой. Выгнали мавров и превратили мечеть в церковь, практически ничего не изменив. Перед мечетями апельсиновые патио — дворы, на которых ровными рядами апельсины, пол из так аккуратно сложенных камней, что камни кажутся плиточным полом. Двор делится на квадраты, разделенные канавками. Эти патио совершенно одинаковы в Севилье и в Кордове.

Мы читаем в соответствии с нашим тезаурусом. Да что читаем, мы разговариваем в соответствии с ним же — разве что в разговоре сильна обратная связь, и мы можем услышать, когда нас не понимают.

Вот, например, совсем простое — человек, не живший зимой в Питере, не ходивший полузамёрзшей-полуслякотной улицей в крошечной тьме-тоске, просвеченной жёлтыми расплывающимися фонарями, как он воспринимает «рыбий жир ленинградских речных фонарей»? А ещё и просвистанная набережная...

Я прекрасно чувствую, что Пастернак — москвич из «Этой белой ночью мы оба, примостясь на твоём подоконнике, смотрим вниз с твоего небоскреба. Фонари, точно бабочки газовые, утро тронуло первую дрожью.»

Не то, не так, не белая ночь.

Когда я пожила с год в Америке, я поняла, насколько неправильно мы все читали Сэлинджера. А ведь он был любимым из любимых для очень многих. У меня был приятель, которому лет в пятнадцать хотелось Сэлинджеру письмо написать — ему казалось, что «Над пропастью во ржи» прямо про него.

Только вот читал он Сэлинджера в своих реалиях. А мальчишка на нью-йоркских улицах одинок иначе, чем мальчишка на ленинградских.

Вероятно, мне трудно проникнуться мусульманской духовностью. С неизбежностью сравниваю с Италией. Двор монастыря Святого Марка во Флоренции с маленьким фонтаном среди белых стен. Фрески с прозрачной голубизной. Выражения лиц на картинах Боттичелли. Русалочья подводная печаль. И роскошные сады в Севилье среди мозаичных стен, среди орнаментов. У меня возникает в этих садах некоторое ощущение нехватки что ли, пустого места.

Кто-то из музыкантов, кажется, Ростропович сказал лет 30 назад, что в России музыка — это хлеб, на Западе — десерт.

Сейчас в России куда в большей степени, чем на Западе, искусство переходит в разряд десерта.

Галич не употребляет в уничижительном смысле выражение «простой народ», ... — сочувствует он всегда — не себе, не себя любимого жалеет, а папашу, который повесился оттого что «и того купить, и сего купить», кассиршу, которая «трясёт белой чёлкой»... Даже и палача, пожалуй, над которым коридорная зажгла божью свечечку. А с другой стороны — у Галича и шофёр, чей «начальничек дал упаковочку», и кассирша, полюбившая техника по счётным машинам, который «хоть и лысый, и еврей, но хороший» — все они тоже отчаиваются не оттого, что их не пускают в другой прекрасный мир...

Так что, вроде бы, и безнадёжности не получается...

Казалось бы, о безнадёжности и Олейников, и Олег Григорьев.

Вот у Олега Григорьева :

«Ездил в Вышний Волочок,
Заводной купил волчок.
Дома, лежа на полу,
Я кручу свою юлу.
Раньше жил один я, воя,
А теперь мы воем двое.»

Но в этом стихе — и неожиданность, и насмешливость, смех над собой! А значит, нет и безнадёжности — есть стих.

Иногда мне кажется, что и в живописи, и в поэзии после абсолютно захватывающего подъёма двадцатого века мы начали тихо опускаться на дно, вот уже коснулись его — скоро станем с краками, радостью, бульканьем подниматься?

Восприятие на слух для меня обычно досмысловое — первое ощущение стиха вообще досмысловое — мычание, из которого выскакивают или выплывают (зависит от темпа) отдельные строчки, выхватываются картины, иногда и отношения к сказанным словам не имеющие.

Собственно, с этого начинается любовь — с бормотанья.

Чтение Томаса меня поразило — он поёт. И поёт не так, как иногда поют поэты, слегка подвывая, слегка усиливая — он поёт скорее, как поют баллады, как поют country music.

У раннего Томаса, как и у раннего Пастернака, ассоциации намного пунктирней, чем у позднего, переходы образов не вынесены в слова, просто бешеная скачка.

Поздние оба — даже часто логически построены — удивительным образом эта построенность не мешает мне ни у позднего Пастернака, ни у позднего Томаса.

Простота не становится простоватостью.

«Fern Hill» — Папоротниковый холм — почти стих-рассказ, почти сюжетен, и ведь из лучших...

Стих зелёного цвета, зелёное марево, зелень, пронизанная солнцем, лошадиные хвосты, летучие лошади, облачные ватные руки времени.

И тут же ассоциация — Бabelь — «Мы оба смотрели на мир, как на луг в мае, как на луг, по которому ходят женщины и кони.»

Люблю бредовые ассоциации — связь всех явлений в природе — подтверждение стройности мироустройства.

Ехала сегодня на автобусе через наш лес очень рано, почти на рассвете.

Из тумана вдруг — полоса цветущих вишен на обочине. Навстречу мимо вишен велосипедист с горящим фонариком на руле.

На пруду цапля совсем неподвижная и такой лёгкий туманчик над водой, цаплины ноги в него уходят.

Как раз в пятницу один наш математик, который очень любит утренние лекции, меня убеждал, что рано вставать — в кайф. Птички поют, и общая радость жизни.

Если уже встал, и если солнце светит, так, пожалуй, что и так.

Человек в значительной степени состоит из памяти — душа — такая то ли картинная галерея, то ли кинематограф. Есть картинки ясные, чёткие, их можно даже соединить логически, они складываются в пазл и занимают своё место, есть смазанные, плывущие, в которые до конца не проникнуть, воспоминание спотыкается.

Некоторые всплывают со дна очень часто, причём иногда это очень странные картинки, вроде бы лишённые особенного содержания, но почему-то они остались, а другие, похожие, нет.

Если б оставалась от каждого человека его память, как в *pen-sieve* в Гарри Поттере — ну, а для нас, бедных маглов, записать память на компьютер и чтоб можно было путешествовать, заходить в чужие картины, смотреть чужое кино.

Кстати, для меня чтение стихов — максимальное к этому приближение.

А если представить себе музей памятей.

В который раз думаю — возраста нет...

Поколения есть, а возраста — нет...

МАЙ



Половина фотографий потеряна.

Жалко до ужаса.

Может быть, конечно, колдовство. Каждый божий день я снимала уличные сцены — старушек на лавочках, собак и их хозяев, жестикулирующих мужиков, тёток, зарывающих носы в тряпки. Нарядных девчонок. И, конечно же, во второй половине дня на улицах происходило больше всякого разного.

Я даже подозреваю одного старичка — он громко ругался с толстой тёткой, — тётка сидела на лавке рядом с другими тётками, старичок стоял перед лавкой и тётку бурно в чём-то упрекал. Ну, а я их снимала. И ни фига.

А Рим — что Рим — это счастье, сравнимое для меня только ещё с одним моим счастьем — с плаванием с маской в тёплом и прозрачном море.

Мы не ходили в музеи, мы даже в церкви почти не заходили — просто целыми днями бродили по улицам...

Спор с *albir*'ом о Гамлете, навел меня на мысль о том, что из всех человеческих состояний ностальгия — одно из самых устойчивых и определяющих. Куда мы денемся без тоски по уже прошедшему и сожалений о том, что недостаточно, не вовсе правильно этим прошедшим насладились?

Впервые я попала в Рим в 79-ом году. Вот соберусь как-нибудь с духом и расскажу про начало эмигрантской жизни, про два с половиной римских месяца.

Я влюбилась в Рим сразу и так, как ни в один город — ни до, ни после.

Я бывала там очень много раз, — когда начинаю считать, сбиваюсь, я ещё один раз, после 79-го, жила там два месяца, и каждый раз, когда заходит речь о том, чтобы поехать не на море, не в горы, не в лес на озеро, я говорю — поедem в Рим.

Мы вышли из гостиницы и пошли по направлению к Колизею. Не почему-нибудь, а потому, что гостиница была между вокзалом Termini и Колизеем.

Мы прошли через простой Рим — по самым обычным улицам, где к счастью не бродят туристы.

Основные римские цвета — жёлтый, розовый, рыжий, оттенки глиняно-красного. Облезлая охра. Очень много зелени — ослепительное солнце и тени.

Удивительно только мне всегда было, что ностальгию по юности, по прошлому, так любили считать ностальгией по месту географической привязки этого прошлого.

В Триесте был у нас любимый ресторанчик. Я бы наверняка теперь его не нашла, потому что трещат и рвутся связи между улицами и перекрёстками, и места, куда сами приводили ноги, торчат одинокими островами, потому что мы не мальчишки-с-пальчики, а даже если б и кидали хлебные крошки, их давно б воробьи склевывали.

Итак, в Триесте был у нас любимый ресторанчик — в кухне *tatna italiana*, неулыбчивый сын бегал с подносами между столиками, а иногда выплывала ему в помощь круглая улыбающаяся жена. И попугай кричал в клетке на прилавке, — если уж совсем громко, то на клетку набрасывали платок. Ели мы там всегда одно и то же — *spaguetti alla vongole* и *frittur'u mist'u* — макароны с крошечными моллюсками, а потом смесь мелких рыбок, кальмаров, креветок, зажаренных в кипящем масле. Сидя за столиком под висящей на стенке фотографией города Rovigno (Ровинь) — в Хорватии, совсем близко от Триеста.

В фильме «Июльский дождь ... есть документальные кадры — 9 мая 1965-го, двадцатилетие победы.

Эстетика «Июльского дождя» сродни эстетике «Затмения». Медленность. Иногда почти неподвижность кадра. Визбор на кухне поёт

подгитару «Спокойно, дружище, спокойно». Спящие троллейбусы в ночной Москве.

Двадцатилетие победы, 40-летний Визбор вписан в эти явно документальные кадры — встречи с друзьями. Юность.

Я думаю, что для этих очень немолодых людей 9-ое мая — праздник памяти о собственной юности.

Человеческий мозг устроен так, что страшное, плохое забывается, ну, хоть отчасти забывается, иначе жить нельзя. А хорошее помнится, расцветивается всё больше и больше.

Люди всегда вспоминают юность с нежностью. На какое бы тяжёлое время юность не пришлась.

В юности они прожили нечто бесспорное.

Я думаю, что этим людям хочется вспомнить, что они были молодыми. Мне кажется, что очень важно, чтобы мы их видели молодыми. Не стариками, которым нужна забота, с которыми дистанция, которые беспомощны.

По-моему, ключевые слова — общение на равных.

Плохие люди обижают стариков, хорошие уважают, а вот кто не видит в стариках стариков?

Тополиный пух — клочья на набережных, клубки под ногами, — садится на на плечи и залетает в окно. В Ленинграде тополя срубили, посадили вместо них берёзы. К пуху у людей аллергия, пух — мусор. Тополя непрочные, от ветра на головы прохожим падают.

Пух надо поджигать в белые ночи — подносишь спичку к клубку на газоне — пых — синее пламя бежит над травой. Пух летал по комнатам, пустые аудитории с открытыми окнами казались гулками,

В марте тополя стригли, ветки валялись в грязно-снежном месиве, их подбирали, ставили в воду, лезли длинные белые корни, жёлтые от недостатка света листочки.

Вот поэтому не входят дважды в одну реку, а Бродский, объясняя, почему он не едет в Питер, говорил, что преступники возвращаются на место преступления, но никто не возвращается на место любви. И так хрупко понятие Родины.

Жила в Ленинграде на Петроградской стороне одна француженка по имени Т. Оказалась она в России сразу перед войной — её муж, рижский еврей, сначала побегал от Гитлера в Париж, а потом вместе с ней в Советский Союз.

Т. казалась случайно залетевшей в питерскую зиму тропической птичкой. По-русски Т. говорила с еле заметным акцентом. Тогда

нам казалось очень смешным, что человек, проживший в России тридцать с лишним лет, говорит хоть с каким-то акцентом...

В 70-ые годы, когда пошла эмиграция, Т. отправилась во французское консульство — её пропустили без всяких проблем — ни у кого не возникло сомнений, что она право имеет — и в результате этого похода, а может, нескольких походов, она восстановила своё французское гражданство, раздобыла его своим сыновьям, жёнам сыновей, бывшим жёнам сыновей...

Когда Т. наконец оказалась в родном Париже, она затосковала. Все тридцать с лишним лет во враждебной России её грела родная Франция, та, из которой она уехала, ну, а приехала — в другую...

Когда не стало советской власти, то и мысли о возвращении не промелькнуло у меня в голове, мало того, я уверена, что если б даже её не стало не так по-уродски, если б даже каким-то невероятным чудом сложилось благоприятно, хоть как в Чехии, я бы всё равно не вернулась, потому что шла жизнь, потому что на любимое старое наложилось любимое новое, потому что изменилась я, потому что моё прошлое выдуло с реальных питерских улиц и ощутить его легче, сосредоточившись и закрыв глаза, или даже не закрывая, всплыть в него на парижской улице, или на питерской наездом, преодолевая резкие удары чужого — по глазам, по ушам, потому что прошлое сменилось настоящим, потому что возвращаться в прошлое глупо и бессмысленно, а в настоящем мне хочется жить во Франции или в Италии...

Никакой двукультурности нет как нет. И никогда не будет. И кажется очевидным, что во взрослом, даже юном, возрасте она не приобретается, и совершенно естественно, что единственный неизменный дом — это язык. Всё остальное меняется — пейзажи, люди, запахи...

В серый день с рваными многослойными пачкающими небо облаками, с отцветшей сиренью, поводишь носом в поисках запаха, за который уцепиться.

Травы, мокрого асфальта, хлеба, кофе, жимолости.

Наверно, главный римский запах — горячие пинии. И запах у них слаще и мощнее, чем у северных сосен.

Рим продувается со всех холмов, в квартирах по мраморным полам ползает упавшие со стола бумажки. На холмах — сплошная зелень. И что-то ещё травяное остро-сладкое.

Бывают противные улицы под холмами, где ветер носит взад-вперёд запах бензина, но таких мало.

А ещё кофе, запах кофе. Ничто не сравнится с итальянским кофе. Половинка маленькой чашечки — это эспрессо. Капучино в средней чашке — настоящее только в Италии.

И итальянские «бары», похожие на уютные кухни. Сидишь у стойки в полутьме и смотришь на улицу.

Слишком сладкие булочки, треугольные бутерброды со всякой ерундой, римское белое вино — такое лёгкое, что можно пить в середине жаркого дня.

И ещё арбузы, которыми летом торгуют на всех углах и, когда возвращаешься ночью, невозможно не купить толстый ломоть арбуза — разрезанные арбузы по ночам пахнут на всю улицу.

В Америке, в Новой Англии, растёт клюква. Её выращивают на плантациях промышленно, а ещё она растёт в дюнах у океана. Клюква не совсем такая, как в России. Твёрдая крупная. Не болотная, а песчаная. Мы её собирали и варили варенье. С яблоками и грушами. Отличное варенье к мясу и к творогу, даже вкуснее брусничного.

А ещё продают клюквенный сок фирмы «Ocean Spray». Сок из чистой клюквы, слегка разведённый водой. Клюквенно-яблочный сок, клюквенно-виноградный. В огромнейших галонных бутылках.

Мама с бабушкой варили клюквенный морс. Клюквенный морс ритуально присутствовал на торжественных обедах с гостями по всяким праздничным случаям. Морс и язык с зелёным горошком — бабушкин день рождения.

Во Франции я с клюквой не встречалась. Говорят, что она растёт в болотно-озёрно-сосновой, плоской, как доска для резанья, Солони. Но мы в Солонь не ездим.

И вот сегодня вдруг в нашем придворном огромном супермаркете по имени Auchan, на крыше которого изображена маленькая птичка, потому как Auchan звучит так же как *au champs*, а «*au champs*» означает «в поле», мы обнаружили целую большую полку, заставленную клюквенным соком фирмы «Ocean Spray».

Я уехала из Америки без сожаления, прожив в ней 7 лет. Не привязалась я к Америке.

Но вот клюквенного сока-детского морса мне всё-таки не хватало. Мы купили 10 бутылок, первую я открыла, только отойдя от кассы. Всё-таки удержалась от того, чтоб начать пить, не заплатив.

Сколько же раз за жизнь сбрасывается шкурка, важно делается неважным, возникают новые люди, исчезают старые, потом вновь появляются на ином витке.

Меня всегда интересовало, откуда берутся сюжеты, как делаются рассказы. Фильм был в моём детстве средненький о Чехове и Лике Мизиновой — «Сюжет для небольшого рассказа» — с Мариной Влади.

Мне вот кажется — не для небольшого рассказа, а для развёрнутого стихотворения.

Сирень обязательно войдёт. И не только у меня. У Трифонова в «Долгом прощании» — магазин «мясо» и парикмахерская вместо сиреневых кустов из-за забора. У Германа в «Хрусталёв, машину» — «а когда-то на этой улице цвела сирень, и грозди свешивались...»

Сирень — не lilas, не lilacs — только сирень — в слове — треск, резкость, свист, шелест — кусты ломаются через забор. Ни в коем случае не хилая пыльная персидская — тяжёлая плотная — светло-лиловая, розовая — ну, белая и тёмно-лиловая — тоже можно иногда.

Лучшая сирень в Усть-Нарве — она не лезла, она пёрла — из-за всех заборов, и просто бесхозная — уличная. Её драли, ставили в вазы, в ведра, увозили в город. Меньше не становилось. Снимали дачу в Сестрорецке, там леса не было. Только залив, просмоленные брёвна, пятна мазута на босых ногах, песок, заросли звездчатки и сирень у шаткого забора.

Под Парижем я знаю бесхозный сиренник на опушке леса Фонтенбло — там же соловьиная школа, даже днём учатся молодые соловьишки.

Сирень ломится из-за заборов, глицинии томно свисают, каждая кисть окружена личным пространством, в повадках налёт усталости и жеманности.

На черешнях зелёные прыщики, сакуры — повядшие нарумяненные красотки, яблони в крепких цветах на крепких ветках — вместе яблочная хрусткость.

А ещё тюльпаны, одуванчики, анютины глазки, незабудудки, маки, звездчатка, глухая крапива. Перевожу дыхание. Всех не перечислишь.

В холодильнике два мешка собранного в лесу Chamagande щавеля.

Над буйством зацветают каштаны.

tarzanissimo утверждает, что у нас меблированный лес — там недавно появился диван. Может, начнут с бурундуков и кроликов квартиру брать?

Удивительно, как вода остаётся дикой даже в каменном корытце. Тёмная, непрозрачная, и кто его знает, — там полметра, или бездонность. Утка с выводком чуть подросших утят рассекала рябь, намекающую на волны, а я поёживалась, вспоминая, как меня застигал в море вдруг ниоткуда возникший ветер, и как я внутренне замирала, если ещё и солнце скрывалось, и только скалы, чайки, расщелины, и плывёшь обратно, к приветливому песку.

Ночью в дождь освещённые окна отражались в мокром асфальте.

Радуешься на автобусной остановке клумбе, заросшей бурьяном, — лаванда, аптечная ромашка без лепестков, несколько залежавших полевых маков, на секунду возникает железнодорожное полотно при подъезде к Риму — уродливые, но всё-таки итальянские со шторами от солнца дома у самой насыпи, бьющий пронизывающий свет, маки. Примериваешься аппаратом к этому островку пустыря, жёлтые ромашковые головы на фоне проезжающей машины, мотоцикл, пешеход.

Проходишь через рынок, глядишь на черешню и огромные кривые помидоры, ничего не покупаешь — лень тащить на работу, потом жалеешь — жевали бы с приятелем перед экранами.

Смотришь на отражения туч в стёклах, на комья земли там, где только что были анютины глазки, лениво гадаешь, кто там сейчас вырастет.

Стесняешься сфотографировать воронку тучи в заднем стекле машины на улочке, по которой навстречу бредут, взявшись за руки, старик со старухой, и маленькая собачка бежит перед ними, перебирая лапками, глядишь на мальву, лезущую из вспученного асфальта, на вьющиеся розы выше крыши одноэтажного домика, здороваешься с чёрно-белым котом.

И думаешь — те дни, когда удаётся складывать какофонию в музыку — правильные.

Собственно говоря, жизнь — состояние души.

Книга — примерка судеб. А сюжет — собственная жизнь. Только не по порядку — не от начала к концу — эпизодами, пунктиром — ассоциациями — чехардой воспоминаний...

Воспоминания — не только о себе в том времени, которое выпало. Собственная жизнь — может быть и в другом веке, в других обстоятельствах. Собой и другим.

На пляже мы слышали кукушку, мы её даже видели — серую, толстую. Далековатые понятия — кукушка, лес, раннее лето — море, чайки, мёртвый краб, ракушки на песке.

Радуга после грозы — на фоне куста тёмной сирени и лиловой тучи — Бретань отстаёт от Парижа — здесь сирень почти что отцвела.

Вот это всё и ещё отсутствие несчастий.

Когда-то я влюбилась в Бретань, увидев скалы по краям необъятных пляжей, лодки на песке в отлив, дома из нетёсаного серого камня, по стенам ползут розы, церкви отличаются от домов шпилями и витражами, глядят в бесконечность химеры, над морем ланды — как это будет по-русски — вересковые пустоши? Кроме вереска, жёлтые колючки, сорт дрока — почему-то пахнут кокосом. Сойти с тропы нельзя, — густая цепляющаяся за одежду упругая субстанция. Весной у гранитных валунов, как оказалось, — гиацинты.

Вечером — прилив. От пляжа почти ничего не остаётся, так, полоска, отделённая прозрачной пеной.

Место связывает времена ...

Передвигались по Европе мы тогда исключительно автостопом.

В Авиньон на театральный фестиваль приехали ночью — смутно помню последний отрезок пути — микроавтобус с детьми и собакой, за окном темно. Расстелили спальники у самой Роны в траве. Утром оказалось, что сколько хватает глаз — весь берег в спальниках — ровными рядами.

И город в спальниках. И чья-то заспанная башка появилась из чашки неработающего фонтана.

Превращение предмета в сувенир, Борхеса в Пелевина, путешествий в туризм.

И ищешь тайные «безлюдные пространства», чтоб убедиться в собственном существовании.

И стыдишься своей недемократичности, и обнаружив случайно какое-нибудь укромное место, с тоской думаешь про то, что его найдут другие.

И зачем-то двадцать лет назад бегали по Лондону в поисках хорошего капучино, и находили, и радовались, а сейчас при виде очередного ирландского паба с тоской отмечаешь, что не надо ехать в Дублин, чтоб сидеть у деревянного стола со столешницей в пятнах и царапинах и рисовать пальцем на пене Гинесса единственную доступную картинку — свинюшку в фас — кружок, внутри другой с двумя точечками, и треугольнички ушей вверх торчат.

А несколько лет назад во Флоренции почему-то почти пустой монастырь Сан-Марко, и стирающийся, растворяющийся за окном голубой цвет у Беато Анжелико, когда вдруг удаётся сосредоточиться, попытаться понять, какое ты ко всему этому имеешь отношение.

И почему время уходит, а остаётся пространство, и что страшней всего, когда пространство уходит тоже...

Станным образом нет большой разницы между бесконечностью и мгновенностью. Это вот — нарисованные на небе облака, и лютики — шёлкова бородушка — масляна головушка — buttercups, мычание, заходящее в горлогорестным счастьем, когда плевать тебе на голодающих Африки и непонятно, откуда берутся войны и прочие несчастья, а только бредёшь по тропинке через луг с первыми маками, и гряды холмов всех оттенков зелёного друг за другом, и солнечные пятна, и дикие нарциссы, и вдруг сладость коровьего запаха, и заячьи уши торчат из травы, и перебегает дорогу зверь пушистый с огромным хвостом по имени genette — судя по картинке с подписью в книжке — а по словарю генетта???

На кончике языка перекачивается «и вот, бессмертные на время, мы к лику сосен причтены, и от болезней, эпидемий и смерти освобождены.», крутится шарманковой песней.

А потом вечер, холод, отчаянно пахнущая сирень — ничто не обобщает так, как запахи.

И твёрдое знание хрупкости — всё так, всё так, пока ничего не болит, пока несчастья грядущие где-то за кустами прячутся, и только знаешь, что жизнь не бесконечна, а когда-то ведь этого совсем не знал.

В Дордони тихие пейзажи, которые могли бы быть даже средне-русскими, если не вглядываться внимательно, если не выглядывает из-за деревьев башня замка, или жёлтая песчаниковая стена, по которой ползут розы — лес, речка, луг — сменяются скальными выбросами, резкими на фоне неба, каменистыми плато, которые напоминают наши представления о прериях...

Речка Ouisse вытекает из дырки в скале, и в эту дырку можно заглянуть, хотя в этот раз мы поленились...

Ближе всего к «счастью» — это вечером через лес — деревья огромные выходят навстречу — раз — привет, два — привет. Тянется день, влажная дорожка под ногами.

Крупные редкие капли — поутру били в нос запахом прибитой пыли.

Липы вдоль широченной просеки, заросшей травой и дроком.

Заросли звездчатки у бревна, пахнущего дёгтем. Где-то внизу белые барашки на заливе.

Не отнять, не отнять. Прав Синявский — нет лучше запаха, чем мокрой псины и старых пыльных книг. Только ещё сирень, да акация. И тёплая сухая стриженная Катя — нежный чёрный бок — носом в него.

Смыкаются деревья над головой, потом расступаются — ручей, дрозд из густых кустов показывает жёлтый нос.

В мае так же не виден декабрь, как в декабре май. В липах — тягучее лиии, хлопающее па, в акациях — белыми высокими шапками за рекой, в длинном щавеле с уже загрубелыми листьями, в нивянках, в сладком луговом запахе — настоящее с такой неизменностью отъезжает в прошлое, и опять сирень, и розы, и запах жимолости вечером, и клубника из соседней деревни с этикеткой «собрано утром» на крошечном рынке.

Декорации привычные каждодневные скрывают отсутствие — реже напоминают о тех, кто в них бывал.

А вот эти розы на жёлтой каменной стене, к которым приезжаешь раз в год, спрашивают — где.

Разносерое небо, холмы, поля, маки и знакомые деревья — липа у калитки, акация над ручьём. Холмы нарисованы одни за другими, и река сверху над песчаной отмелью — из жёлтой пластмассы, и от тополиного пуха воздух объёмный живой — почему нет ни одной картины, где пух летит, садится на воду, уплывает? Когда-то здесь я впервые встретила щегла — в глицинии под окном. А ласточки по утрам любят залетать в спальню.

Тишина с пунктиром птичьим после дождя.

И дождь нехолодный неплотной стеной окружает, обволакивает коконом, и качаешься сонно убаюканный, и скрипят рессоры, и зелёное за зелёным, и следы на песке, и на траве, и заяц, вскидывая длинные лапы дорогу перебежит, и махнёт огромным хвостом когда-то увиденный странный зверь генетта. И опять вспомнишь про то, что театрального капора пеной, тополиным пухом, веткой черёмухи, кроной акации... И встряхнёшься, и выйдешь на улицу, чтоб поведя носом ухватить жимолость, — и ужинать пора.

Синие катальпы в синем небе — к ним торжественно ползёшь, задрав голову — выход из метро Jussieu.

Просвеченное солнцем громокипящее пеной пиво. Здесь, в кафе напротив, к нему подают орешки — неожиданным сюрпризом. Года три назад мы с папой радовались этому.

Город пропитан памятью — моей, чужой...

Настоящее мгновенно становится прошлым, а прошлое вдруг выступает из этого дрожащего воздуха и трогает за плечо.

Булыжные облака приколочены декорацией в густом непрозрачном небе.

Мгновенным уколом, взглянув на афишу с юной симпатичной девицей, — «где мои 17 лет» — чего-со-мной-уже-никогда-не-будет.

Хорошо, что нет на свете джиннов, а золотые рыбки плавают в прудах и не торопятся исполнять желаний...

Умер родной нам человек — Жорка — Георгий Бен — самый старый Васькин друг.

Отличный переводчик — поэзии, прозы...

Лондонский житель, много лет работал на Бибиси. Умер внезапно — в Питере, куда поехал пообщаться с друзьями.

Мы вместе Фроста собирались готовить. Жорка вовсю влез в эту работу.

Опять не выбрались весной в Лондон, а собирались...

Васькин отец и Утёсов получали деньги в месте под названием Гомец, и однажды отец Ваську взял с собой. Васька был уверен, что Гомец — это такой испанец в сомбреро, а это оказалась советская контора — государственное объединение мюзикхоллов, эстрад, цирков.

После войны Утёсов на ленинградских гастролях Ваську нашёл и оставил ему контрамарку на один из своих первых послевоенных концертов. И всегда Васька на утёсовские концерты ходил, когда он приезжал. И джаз с тех пор полюбил, начиная с его джаза.

Что было недавно, что давно, что сейчас?

Что отделяет наш мир от хаоса? Что обеспечивает функционирование его? Если никто в отдельности не понимает, как он устроен. Почему всё не разваливается на части?

И ещё — может ли быть именно такой закат цивилизации — постепенная утрата драйва, постепенная потеря технологий. Опускание на дно...

Поражает меня это движение от человека индивидуального к человеку массовому.

Многие годы жизнь шла в обратном направлении — из парада и массовости вылуплялся индивидуальный человек с личной ответственностью и личными привязанностями.

Вчера мы с Альбиром возвращались на метро домой и, естественно, в своё удовольствие болтали, сидя друг против друга. В

вагон вошла женщина с девочкой лет пяти-шести, вертлявой, большеберотой, с огромной улыбкой, в которой уже не хватает переднего зуба, и с разлохматившимся хвостом. Девочка протиснулась мимо меня к окну, а мама села рядом со мной у прохода. Через пару минут девочка обернулась к маме и спросила, на каком языке мы с Альбином говорим.

- На русском — ответила я.

— Вы из той России, которая около Китая, или которая около Франции?

— Так ведь нет России около Франции.

Тут улыбнулась мама:

- Она знает, что есть Россия в Европе и есть в Азии. Около Франции — это та, что в Европе.

Так что теперь я знаю — я из той России, что рядом с Францией. Кто бы мог подумать!

Грань двух сред — было и будет — и буфет не только у Бродского похож на Нотр Дам де Пари — старый буфет Татьяны Григорьевны Гнедич — вот сейчас передо мной такой буфет — резьба, фасад — под Рождество вылезать оттуда мышинному королю.

Чем дальше, тем больше задевают меня детали — хоть в книгах, хоть в жизни — одни детали.

Тополиный пух на реке — невесомым парусником по течению, пух на дороге, на поле — пушистым рыхлым летним снегом.

Блики на клеёнке — на столике на крыльце за раскрытой дверью, качаются тени на листьях, ползут розы по жёлтым стенам. Розаночка-Беляночка и добрый медведь.

Земляника в лесу — на руках у Антона была не кровь — сок земляники.

Артишоки на огороде, майские белые грибы во влажном лесу. Поют лягухи то слаженным хором, то вдруг солисты ведут свои бесконечные партии. Ласточки на проводах разевают клювы. И небо опрокинуто густым синим куполом, и тянут морды и шеи облака, и шуршат ветки ореховых деревьев.

Дорога вымощена жёлтым кирпичом, мигают Мигуны, жуют Жевуны.

А в мире за деталями, за нависающей глицинией, за стрелками лука на огороде, за бесконечным летом, цепляющимся крючками за другие бесконечные лета, оживающим разноголосицей, памятью шагов — я помню, о чём мы говорили с папой, когда смотрели на прозрачную лужу, из которой вытекает речка Уис, и как уставшая

от слишком долгого похода собака Ньюшенька лежит в уже высокой апрельской траве, — помню, катит паровозными колёсами время, работает против, против — с середины жизни, с середины лета.

Новое — забытое старое, плетётся рубашка вместо лебединых крыльев.

Спряталась в листьях улитка, жужжит шмель, ящерица на дорожке растопырила пальчики на лапах, маки на обочине, герань в кадке сияют аленькими цветочками.

Всесильный бог деталей, маленький паучок — плети паутину, на которой, авось, ещё чуть-чуть подержится мир.

Ручка ковшика большой медведицы зацепилась за стенку дома.

ИЮНЬ



Липы цветут вовсю. И каштаны — те, что съедобные. На тротуаре белые пыльные сбитые лепестки акаций. Вчера капнуло несколько капель — и сразу запах прибитой пыли. Розы из-за каждого забора. Дрозды едят черешню — наперегонки с людьми.

И с прошлого лета прошёл год — вообще-то не проходил — обман.

Дордонь, как и куча других французских департаментов, назван(а) по речке. Дордонь — она, девочка, тётя — речка la Dordogne. Вообще-то не совсем речка, пожалуй, река — сначала вполне горная — течёт из Центрального массива, потом быстрая, потом широкая.

В мае, в июне — пустые дороги, солнце, облака, грозы, запахи, звуки — птицы, лягушки, река.

Дордонь — гусиная и ореховая. Ну да — гуси, орехи, foie gras (паштет из гусиной печёнки, обязательный в Рождество — вообще некоторый мороз по коже при мысли о том, как гусей откармливают, чтоб этот паштет делать...).

Ореховые сады, орехи домашние — покрупней, дикие — поменьше, дороги, обсаженные орехами.

Холмистая, больших полей не нарезать — так понемногу — пшеница-кукуруза, изредка маленькие виноградники, табак.

Смешанные леса. Кабаны. Такие там топчища встречаются. Очевидные следы кабанских турниров. Олени.

Песчаник, скалы, пещеры. Самое троглодитское место Европы. Даже на дороге памятник стоит троглодиту с дубинкой. Именно в Дордони и в соседнем Лоте (там течёт река Лот) пещеры с сохранившимися древними рисунками — для меня что 10 тысяч лет назад, что 5 — всё едино — быки, лошади — как у Пикассо — дышат. Самую знаменитую пещеру — Ласко — открыли в 40-ом году двое мальчишек. Собака в лесу провалилась в дырку, мальчишки за ней полезли — увидели росписи. Рассказали об этом учителю (почтенное было занятие — в деревенской школе детей учить — самый уважаемый человек в деревне — школьный учитель). Ласко — единственная пещера, где рисунки — в цвете.

Читаю лагерные письма Синявского. Не могу оторваться.

«Наверно, время воспринимается здесь как пространство, и в этом суть. По нему как будто идёшь, и это тем более странно, что сидишь на месте, не двигаясь, и увязают ноги, и относит как бы назад, в прошлое, так что, придя в себя, удивляешься, что прошёл уже год и опять весна. Здесь не верна пословица: жизнь прожить — не поле перейти. Нет, именно поле. И перейти». Несколько дней назад, найдя в сети песни Таривердиева на слова Поженяна, *bgmt* обозвал интернет машиной времени.

Была такая пластинка в самом конце шестидесятых, — Таривердиев сам играл на рояле и пел. Маразм, задевавший истовостью почти до слёз.

Если б у меня была машина времени, я бы ездила на ней в гости к собственному прошлому, а если б пришлось попасть в будущее, помчалась бы смотреть на свои полянки в надежде, что они совсем не изменились — вересковая тропа над морем в Бретани, река Дордонь вечером перед закатом, когда комарики попискивают... Всего и не перечислишь.

Правда поездка в гости к собственному прошлому имеет свои подводные камни — галоши счастья и тут проявят свою вредоносную сущность. Орудие пытки — розовый пояс с резинками и чулки, вонючая школьная форма, мытьё раз в неделю...

mrka вчера сказала, что очень ей не хочется лететь на самолёте в Питер — вот нажать бы кнопку и переместиться. Я с грустью ответила, что учёные — народ несознательный и о пользе общества думают недостаточно — над электромобилями работают, а вот над диванами-трансляторами — ни-ни. Но *mrka*, как существо

консервативное, решила, что предпочитает печку. *tarzanissimo*, в общем, согласился, что на печке неплохо, только предупредил, что медленно, и заторы, и пробки. Едучи сегодня в аэропорт, мы очень живо представили себе дорогу, по которой переваливаясь шагают печки. Небось, дымом пыхают, и когтистыми косолапыми ножами загребают.

bgmt, правда, предположил, что печки ходят на воздушных подушках. Но я не верю.

Аэропортов не люблю вовсе, хоть и странно, что стоят на поле железяки — тук-тук — в стенку постучать, залезть и оказаться на другой стороне шарика. Повернись, избушка, ко мне передом, к лесу задом.

Вокзалы когда-то любила — нескороаемые ящики, паровозные крики — но теперь нет особой разницы — вокзал, аэропорт. Авто-страды терпеть не могу.

Маленькие дорожки,- чем кривей, тем лучше, и чтоб медленно, и чтоб в окно задувало хоть горячими соснами, лавандой, хоть скошенной травой, хоть сиренью, хоть жасмином, хоть тёмным еловым лесом, хоть морем. Так и путешествовать можно. Только где ж время взять?

Вчера в тесном вечернем метро ехал человек с контрабасом. Стоял на платформе, опираясь на незачехлённую, слегка потрёпанную деревянную громадину. Поезда почему-то не было минут десять, так что народу скопилось много. Я прошла мимо, и как он залезал в вагон, уже не видела.

Мама рассказывала про одного оркестранта-контрабасиста, который страшно огорчался, что сын его выбрал скрипку: «Контрабас — это же как скрипка, только ещё нежней». Приходил делиться горестями к ним в бухгалтерию.

Большую часть жизни мама проработала в бухгалтерии в Мариинке. Так получилось. Когда-то она училась в институте вместе с *tarzanissimo*, участвовала в литературном кружке. Когда после доноса начались разборки, *tarzanissimo* бросил всё и уехал из Ленинграда, а маму стали таскать и грозить исключением. Ей это быстро надоело, она сообщила приставучему гэбэшнику, что учиться дальше не собирается, и ушла сама. Закончила бухгалтерские курсы. Мне было ещё довольно мало лет, когда мама поступила в Мариинку. В бухгалтерии они жили славно, по-семейному. Главная бухгалтерша была из «бывших», так что когда приезжали иностранцы, директор, пришедший в театр из пожарной команды, призывал её из бухгал-

терии, чтоб она поговорила «на языках». Семьи у неё не было, когда она умерла, мама унаследовала её малахитовые бусы.

Кто-то с кем-то поссорился и не здоровался. Увидев врага, или врагиню (тётки ведь, небось, были) в чьём-то обществе, этот первый кто-то произнёс: «вам здрасти, а вам нет». Демон в пьяном виде упал в оркестровую яму и ногу сломал. Его пришлось заменить. Заменщику выдали премию за то, что он «пел не своим голосом».

Однажды в бухгалтерию вошёл Алексей Толстой. Нет, это был не призрак, а сын его Дмитрий — все Толстые, как известно, очень похожи.

«От встречи с мертвецами нам сладко, нас тянет под одеяло. Замок с привидениями своим литературным успехом обязан разбухшему чувству уюта, сознанию застрахованного от непрошенных вторжений жилья»

А каково старику на свои детские фотографии глядеть?

Это же он — он, и душа та же, и желания.

А старухе, бывшей красавице?

Некоторым, конечно, выпадает счастливый билет — красавицами в старости. Но редко.

Так что дело всего лишь в постепенности и незаметности — позавчера, вчера, завтра...

«Это — время тихой сапой убивает маму с папой»

Давно уже я понимаю, что помирать в старости ничуть не легче, чем в молодости.

И когда мы спокойно воспринимаем сообщение о том, что кто-то умер в 80 и поёживаемся, когда слышим, что в 40, — это просто самозащита такая — примерка на себя — чур меня, чур.

«Предмет, удвоенный в зеркале или в воде, кажется цельнее, он не раздваивается, а удваивается, помножается сам на себя. Он замыкается на себе в этом пребывании на границе своей иллюзии.

В отражении важно, во-первых, что оно перевёрнуто, во-вторых — подёрнуто рябью, дымкой, оно струится, и дышит, и проступает из тьмы, со дна водоёма. Это как бы тот свет предмета, его психея, идея (в Платоновом смысле), заручившись которой, тот крепче стоит и красуется на берегу. Зеркало его подтверждает, удостоверяет и вместе с тем вносит долю горечи, тоски, недостижимости прекрасного далека, становясь по отношению к миру легендой о граде Китеже»

Липа. Громадная, толстая, верхушка в синем небе. Когда я думаю, как поедem вот в Дордонь, перед глазами эта липа под окнами.

При нас расцвела. Стала совсем мохнатой. Облако сладкого запаха. Пчёлы в ней — по этажам. Не сталкивались, не ссорились.

В семь утра прямо в сон — чви — чвирк — под потолком какое-то громадное насекомое — ласточки — две — уселись на карниз и беседуют. Местные, деревенские, с красными грудками. Я решила, что они заблудились, что надо срочно открыть окно и попытаться их выгнать, но только подошла — ветерок у уха — и след их простыл во втором окне — открытом.

Громок ласточий разговор прямо над головой, не через крышу.

Одна ласточка вечно сидела на проводе, высоко над нашими головами, когда мы завтракали в палисаднике, кое-как уместив стол и четыре стула между заросшим глицинией заборчиком и стеной дома, по которой ползут розы. На мой вопрос — где же круассаны — Машка ответила — в розах.

Мы очень беспокоились о цапле у скалы. Не прилетела она встречать нас. Огорчились, подумали, что, наверно, её съели лягушки. Они пели так страстно, так радостно. Солисты и хор. Утробное, урчащее, басовое, скрипящее, зовущее. И не показываются. Ну, разве что иногда шевельнётся кувшинковый листик на воде и под ним угадываются два огромных глаза на мокрой зелёной башке.

И только за два дня до нашего отъезда мы с Машкой повстречались с этой цаплей вечером на реке — небось, летала навещать старую бабушку и вернулась наконец домой. А лягушки продолжали беспечно петь свою лебединую песню, не думая о грустной судьбе проживавшего за сараем мистера Квакли.

«Старичок как ребёнок. То пойдёт в зоопарк к знакомой антилопе, то в кино. И старичку весело жить, отрешившись от взрослых забот и воротясь в детство, на пенсию. Он бы прыгал на одной ножке, если бы позволило здоровье. Но и так ему хорошо, на солнышке, как котёнку, обдумывая, во что ещё поиграть в этой просторной и такой одинокой жизни.»

Для меня у Кафки самый страшный рассказ — «Превращение».

Мне кажется, что очень сильно изменились общественные ценности. Среди людей, учившихся в восьмидесятые годы и раньше, было не так мало романтиков, которым казалось, что они будут познавать мир. То, что познание мира — это очень важно, не ставилось под сомнение. Сегодняшние ребята с идеалами хотят улучшать общество, и эта забота об улучшении общества в значительной степени сводится к заботе о повышении всеобщего материального и морального благосостояния во всем мире. С этической точки зре-

ния, наверно, теперешние студенты, которые в свободное время компы в Африку возят или в детских больницах организуют компьютерные игры, в среднем лучше, чем те, которые мечтали мировые законы открывать и в космос летать...

Я думаю, что отчасти именно в результате этого изменения общественной ориентации все большему числу людей хочется так или иначе организовывать существующее, и все меньшему числу людей хочется создавать новое, если это новое не приносит очевидной пользы. Польза так или иначе измеряется качеством повседневной жизни.

А знание, как таковое, перестает быть ценностью. От этого страшновато.

Мне представляется, что неверие в благотворительность идёт от психологии нищеты.

Причём, не от бедности, а именно от нищеты. Бедность себя уважает. Бедность — это когда нет и не надо, обойдёмся.

Нищета — состояние души, а не отсутствие денег. Нищета сопряжена с завистью — нищета — это осознание себя неимущим, нищим. Это осознание возникает, когда всё время происходит сравнение себя с другими, с теми, кому лучше. Нищета не обязательно означает бедность, но обязательно унижение. Унижать можно себя, самоунижаться, а можно других, если дорвался до власти.

Нищему трудно понять готовность богатого поделиться деньгами.

Ужас 90-х, мне кажется, в том, что до денег дорвались — психологически нищие.

Разговоры о том, кто и что украл, мне представляются идиотскими хотя бы потому, что государство не умело и не умеет распоряжаться деньгами, не умеет распределять и представляет собой банду вороватых неэффективных чиновников. Говорить, что русские капиталисты забрали общественное, по-моему, смешно — общественное означало бесхозное, — то, что сгниёт и пропадёт, потому как всем плевать. Ужас не в исходном приобретении капитала, ужас в том, что капиталы оказались в руках у бывших нищих, жадных и бессовестных, для которых ванны с шампанским — это такое статусное счастье — Я МОГУ. Ужас в том, что этим разбогатевшим не было дела до населения, в том, что никому не было дела до населения. В крайнем случае, дело было до общих идей, но уж не до людей на улице.

Капиталы в руках у разумного и не бессовестного человека — это фонды, это благотворительность, это улучшение жизни для многих. Благотворительность естественна. А зачем человеку личные миллиарды?

Только вот похоже, что значительной части населения России совершенно не важно, куда идут деньги, важнее уличить...

Несколько лет назад одна моя приятельница рассказывала, как в московском институте экономики (не помню, как он точно назывался) рассчитывали целесообразность постройки подземного перехода. Для расчетов нужно было оценить в деньгах человеческую жизнь (если перехода не построить, так кого-то обязательно задавят!). Жизнь стоила сколько-то копеек. Немного — то ли две, то ли три.

Тут вот рассуждают о терроризме, сравнивают то, что происходит в России, с тем, что в Израиле, почему-то забывая о фундаментальном отличии России от Европы, Америки, Израиля: со времен царя Гороха русское государство оценивало человеческую жизнь в эти самые три копейки. Так строили Питер, так воевали.

Мы не знаем и никогда не узнаем, что произошло в Норд-Осте, мы не узнаем, что точно произошло в Беслане — некомпетентность или злая воля. Только русское государство (в данном случае олицетворенное Путиным) думает об одном — об укреплении собственной власти — и любой ценой. Государство в России существует не для людей, это люди существуют для государственных надобностей, и спецназ отлично умеет брать безоружного Ходорковского.

Сейчас в речах не великий стыд перед людьми, а враги с Востока и с Запада, да заверения, что нашего не отдадим.

Для государства дело не в том, сколько народу при каком раскладе погибнет, оно преследует свои государственные цели, которые не имеют ничего общего с благом населения.

Почему-то недавно вспоминали Окуджаву, и я вдруг подумала, что «Я смотрю на фотокарточку: две косички, строгий взгляд» — небось, ведь мамина фотография, и целая жизнь между «комсомольской богиней» и «настоящих людей так немного»...

Читая или слыша об очередных каких-нибудь мировых событиях — гражданских войнах, взрывах, стрельбе, политических убийствах, разгонах демонстраций — приходит в голову, что Европа хочет быть Швейцарией времён второй мировой войны...

Чем жизнь обречённых отличается от нашей?

Тем, что они заведомо знают, что их жизнь коротка? Но ведь в самой длинной жизни в какой-то момент впереди остаётся совсем мало. И нет никакой разницы, сколько было позади. Людям свойственно воспринимать смерть в детстве или в юности, как очень несправедливую. А в старости, как нормальную. Но ведь это чужую... Не собственную, не своих близких...

И обречённые герои ... живут, и мы живём, а не ходим как Левин, который прячет от себя ружьё, чтоб не застрелиться, раз всё равно когда-то умирать...

Я в любых мемуарах ловлю — цвет трамваев, какая была погода, лужи, дачные поезда...

Когда нет границы между воспоминаниями и просто книгой. Какая мне разница, что «До свидания, мальчики» — художественный текст, имеющий право на выдумку — это ведь память, а что же ещё?

Каждый раз, когда я иду по тропе над крутым заросшим лесом склоном в лесу Рамбуи и смотрю на толстые серые гладкокожие слоновьи ноги-буковые стволы (клён-платан, вяз-бук, ясень-граб), я вспоминаю, как лет 17 назад Нюшенька потеряла мячик — маленький теннисный мячик, — выронила изо рта, а он и укатился по склону в папоротниковые заросли. Такие мячики собаки вечно теряют и находят. Вот и Нюшка, чтоб уравновесить потерю, отыскала мячик в единственной, небось, в Голландии сосновой роще, возле которой мы остановились по дороге в Амстердам.

Несопоставимость длины жизни — собачьей и древесной. Человечьей и древесной. Живой и каменной. И необходимы нам эти древесные и каменные свидетели. На месте замшелые валуны. Ещё одна привязка к бессмертию.

«Воротишься на родину. Ну что ж» — найдёшь набережную, сирень, обольёшься слезами, как над вымыслом, над собственной любимой жизнью, над всеми, кто ходил по этим улицам. Да и возвращаться далеко незачем. Каждый день куда-нибудь возвращаешься.

Ложатся концентрические древесные кольца, терпеливо трутся друг о друга времена.

Выдумка-правда — какая по сути разница, кто что сказал — если пахнет сиренью и пылью, и дождь, и тоска о том, что было-было — и вот прошло за минуту.

Всё-таки первичное ощущение красоты и смысла чаще всего — из природы, хоть и звучит это слово пошловато.

Не ветка — девушка, а девушка — ветка.

Конечно, у Тарковского «И только стрекоза, как первый самолет, о новых временах напоминает», но такое — реже. Обращает внимание скорее некоторой противоестественностью. Когда видишь и слышишь низко в небе вертолёт, обычно чудится летучий кузнечик, или жук.

Вот Ньюша даже лаяла на них.

Лучшие человеческие творения — природны, и что может быть большей похвалой готике, чем то, что готические соборы тянутся к небу, как горы.

А в «Бессоница, Гомер» равномерно накатываются волны.

Правда, возникают и обратные ассоциации — в Бретани есть скопище скал — Chateau de Dinan — там даже ров и мост — природные. Но, наверно, причудливость замков — от причудливости пейзажей.

Во Франции множество крепостей, растущих из скал, встроенных в скалы, естественно повторяющих их линии.

Вечером в лесу цветущие каштаны кажутся громадными — светло-зелёные метёлки горько пахнут и изумляют непохожестью на белые свечки конских каштанов.

И свет — солнечные предзакатные пятна на фиолетовых дорожках, блики на стволах, просвеченная сияющая зелень листьев. Полированные стволы диких вишен блестят серебристо-серым ёлочным блеском.

Удивительно мне, что в живописи свет появился сначала на портретах — у Вермеера, у нелюбимого мной Рембрандта. А вот света в пейзажах, кажется, не было до импрессионистов. Ну, может быть, чуть-чуть у барбизонцев мелькал — стадо коров из лесу выходит, из тени в свет.

Когда идёшь вечером по цветущему лугу и повторяешь — «благодарь» — не возникает сомнений в гармоничном и осмысленном устройстве мира...

В лесу земляника — иногда попадались ягоды с пол клубничины размером, но, увы, это было только начало, и зреет она сейчас не для нас, а мы уже в Париже. Один раз маслята, один раз белые — вылезли после единственного сильного дождя.

Черешневое бесхозное дерево среди поля — жёлтые, мелкие, сладкие ягоды. Мы, жадно хрюкая, съели все, до которых достали. Это вообще-то было не очень хорошо — дома стоял ящик с красными и огромными. Птичек объели, им-то на рынке не купить, кто

ж им продаст — разве что сорокам-воронам обменяют на серебряные ложечки.

Вместо васильков — маки — в пшенице, на обочинах, на лугах, иногда — маковые поля, Катя вместо трусливого льва, но почему-то спать не ложилась. Меня же завораживало, если долго смотреть — качаются красные, блестящие, гладкие.

Речка Везер — помедленней Дордони, рыжая вода, изредка перекаты, иногда на кустах какие-то тряпки-палки-мусор — следы половодья. Цапли из кустов — пара взмахов, и не видно, утки с утками, селезни мужскими компаниями. Эхо в высоченных скалах, лес — и долгий, дальний, колокольный звон.

Розы вверх по стенам из жёлтого песчаника — всюду, однажды — плющ на низких проводах, как бельё на верёвке.

На дорожке лепестки жасмина. Запах столбом в воздухе — замираешь на минуту, собирая воедино все кусты, все жасмины, все лета, все покосившиеся заборы и каменные изгороди...

Вечером в доме открытая дверь, — жимолость, прижавшаяся неподалёку к стенке, ритмичными волнами. Там за спиной дышит — что, кто? — липа сопит и фыркает, как Катя во сне? Цикады — постоянным ночным фоном. В полночь гаснет уличный фонарь — непроглядно — выйти на крыльцо, посмотреть в собственное светлое окно.

Утром, — только проснувшись на втором этаже — из окна — взглянуть на липу, потом из другого — на петуха с гаремом, гордо и часто объявляющего — «я есть, я здесь, я!».

Бежит лето, перебирает лапами, краснеет черешней в ветках; отрастает шерсть у Кати, месяц назад подстриженной под льва — с кисточкой на хвосте.

И по небу бегут облака, и рыбками с раздвоенными хвостами в темнеющем небе — стрижи, и пахнет сеном и клевером, и дням ещё неделю удлиняться.

И бьёшься головой о слова, все уже сказанные, о проживаемую жизнь, пытаясь удержаться на невесомом июньском острие.

В одиннадцать вечера в смазанном расплывающемся голубом, под пухловатыми облаками, при взгляде на которые проговаривалось «тётя Дуся», над нами с Катей пролетел самолёт, посверкивая красным мигающим огнём под брюхом и зелёными на крыльях.

Кстати, расселовский постулат про то, что написанное за ночь не изменяется — он работает ли? А за две ночи, а за день? Может быть, за ночь, пока спишь, не изменяется, а за день — ещё как! Одно чита-

ешь после дождичка в четверг, а когда наконец приходят турусы на колёсах, то уже совсем другое. Отсюда лоджевское влияние Элиота на Шекспира.

И всё-таки стемнело, — только стрекочет мотоцикл и шипит тополь, как пролитый на плитку кофе.

ИЮЛЬ



Вчера на Монпарнасском вокзале в пригородный поезд, на котором я ехала домой, заскочил кузнечик — тот самый, зелененький, который «с мухами дружил». Наверно, он тоже ехал домой... А на автобусной остановке мне на руку приземлилась божья коровка — посидела, побродила по руке и улетела. Лето. Лето...

Сегодня на какой-то остановке я подняла глаза от книжки и упёрлась взглядом в жёлто-рыжую клумбу — бархатцы, герберы. Почему особенно много жёлтых цветов весной и осенью? Жёлтая клумба определённо напоминание — чтоб жизнь мёдом не казалась.

И никакого тебе «остановись мгновенье».

В лесу пахнет папоротником. Цветет ежевика, иван-чай, жимолость. Зелено-белым цветут каштаны и, когда смотришь сверху, видишь пятнистые кроны — оттенки зеленого, в зеленый вклиниваются серебристо-белые пятна. Но все равно после 21 июня, когда вместо того, чтоб удлиняться, дни начинают укорачиваться, я с тоской начинаю думать, что лето когда-нибудь кончится.

В Париже в 81-ом году весь июль шёл дождь.

После мокрой тупой ново-английской жары я очень радовалась и удивлялась — так было похоже на Ленинград. Мы жили в пустой квартире дочки одних дальних знакомых на улице cardinal Lemoine совсем близко от дома, где жил Хемингуэй, когда писал «Праздник». Отца владелицы квартиры звали Boris Grinberg, был он старым французским коммунистом, и его веру в светлые идеалы несколько подорвала поездка в Советский Союз. Он на своё несчастье говорил по-русски, и когда шофёр такси, в которое он уселся в Москве на вокзале, стал ему рассказывать, что все беды от жидов, бедный Boris Grinberg трогательный рассказ вполне понял. По утрам я не ленилась, а бежала под зонтиком в булочную за свежим багетом. Круасаны мы покупали не каждый день, экономя совершенно отсутствующие деньги. И ещё я покупала на рынке форель, которая казалась не вульгарно выращенной в пруду для еды, а вольной неудачницей, попавшей на удочку — просто форель из рассказа «на Биг Ривер».

Когда-то дождь месяц шёл в Усть-Нарве. Почти весь мамин отпуск. Только по вечерам прекращался, и народ вываливался на пляж — смотреть на красное солнце, которое садилось в залив. Гуляли со спидолами в руках — слушали вражьи голоса. До пляжа глушилки не добирались. А был август 68-го.

Ехала сегодня в автобусе, обсасывала дождевые ассоциации, лувовицу обдирала.

Шуршит тополь за окном и над ним довольно быстро летит небо — бело-серое в голубых дырках. Так вообще — осмысленная жизнь — не обуза, однако не у всех и не всегда получается.

Папа мой, задумчиво поглядев на цветочные горшки, висящие на нашей улице высоко на фонарных столбах — каждое утро проезжает грузовичок, из него вырастает лестница, с которой мужик в зелёном комбинезоне поливает петунии, герань и всякую мелочь из шланга, — сказал, что нравы всё-таки смягчаются. Двести с небольшим лет назад на фонарных столбах вешали аристократов, а теперь всего-навсего цветочные горшки.

Я уже так давно живу в Париже. Вся жизнь собаки Ньюши уместилась. Сколько собачьих веков — человеческий? Наверно, шесть, или даже семь.

Расслабленный летний день сегодня, когда лениво кажется, что будем жить вечно.

И надо жить на лестничной клетке — прохладно, гулко. Сидеть на ступеньках с бутылкой пива. Можно, конечно, и кресло вытащить. Фонтаны — тоже подходят для жизни. У нас совсем рядом

есть один, запрятанный среди домов, — там тихо, только вода хлопается и шипит.

Я замков не люблю — ни замков, ни дворцов. Иногда люблю крепости — особенно развалины. В детстве очень любила лазать по развалинам Нарвской крепости — особым шиком было обойти по краю круглую площадку где-то там на верхотуре, на уровне какого-то энного этажа.

А внутри дворцов, превращённых в музеи, мне всегда исключительно скучно. Впечатление от Луарских замков мне когда-то испортила Бретань. То ли в третий, то ли в четвёртый приезд во Францию на каникулы из Штатов мы пополам со знакомыми взяли напрокат машину на неделю и поехали сначала на Луару, потом в Бретань.

На Луаре тогда даже не было толп — мы три дня ездили по маленьким дорожкам, гуляли по замковым лесам, ночевали на обочинах просёлочных дорог, ведущих в поля — расстилали спальники около колеса. И всё было замечательно красиво, приятно и вкусно. Мы даже ели в каком-то ресторане петуха в вине — главное луарское блюдо.

А потом мы уехали в Бретань. И мелкая широкая Луара вместе с замками просто вылетела из головы — вереск, жёлтый колючий дрок, скалы, необъятные пляжи, замшелые серые церкви на одиноких дорогах, волны с пеной поверху, белые морские звёзды её совершенно стёрли. С Бретанью получилось, как с Италией — ещё будучи там, я стала думать про то, как мне туда опять хочется. Так и осталось — в Бретань мне хочется всегда.

Наверно, раньше я лучше выносила толпу, например, я с удовольствием гуляла по праздничному вечернему переполненному городу. А может быть, толпы были чуть меньше? Может быть, просто есть критическая затолпленность. Например, весной в солнечный вечер около Нотр Дам очень хорошо, а летом там же — плохо.

Мы поехали на piazza del Popolo — некоторый аналог парижской площади Конкорд. Элегантная и торжественная. В последний приезд в Рим я почему-то туда не заходила.

А в предпоследний она была в лесах. И вышла из лесов пешеходной. Ох, сделали бы Конкордихе такой подарок!

Нам в Бретани в этот раз очень повезло. Даже дождики и дождици проливались по ночам.

Правда, однажды во тьме мы попали под лёгкий приятно-прохладный душ в постели — пришлось закрывать окно и распахивать стеклянную дверь напротив. И океанская вода была тёплой.

Подводный мир в Бретани совсем не похож на средиземноморский — он бутылочно-зелёный с блёстками, а не сияющий сине-золотой. Подводные густые леса, кроны колышались, где-то в глубине рыщут зверерыбы, а иногда и лист рыбой прикидывается, и слабенький неуют между лопаток — никого, кроме чаек с бакланами над водой, а в воде — кто же знает. По дну, по песку среди ракушек и камней на опушках подводных лесов бродят крабы — медленные, твёрдобородавчатые с паучьими ногами — так и называются — крабы-пауки. И на скалах под водой колонии звёзд — на Средиземном море звёзды — от розовых до бордовых, — в Бретани чаще всего белые громадные.

Мы плыли к просторному бурчащему гроту, и вдруг со скалы сорвалась чайка и спикировала прямо на бегемочью башку — он плыл на спине, и чайка затормозила в нескольких сантиметрах от бегемотского носа, но не улетела восвояси — кружила, орала и устрасала — прочь — кричала — от моих детушек.

Ну, а потом на наш полуостров напал большой ветер, раскачал море, и оно сердилось, плевалось, шипело, подскакивало высоко-высоко и шмякалось громко, брызгаясь пеной. Чаще всего пена бывала белой и искристой, как ей и положено, но в некоторых местах зелёной, суповой, водорослевой — её хотелось снять шумовкой.

Пляжи приходили и уходили — всё-таки не понимаю, как луне удаётся столько моря таскать за собой — оно билось и водоворотилось у скал, которые за час до того стояли прочно на песке и до воды от них было шагать и шагать по плотному и слежавшемуся, а потом неожиданно это твёрдое начинало булькать изнутри, и шевелилось живое под пятками, и надо было уносить ноги. Ходили по приморским тропам — сосны, вереск, съедобный, нагретый запах папоротника — далеко внизу бутылочное море, гранитные скалы — чёрные, серые, красные, дюны, осока, голубой, палевый, розовый песок, сколько хватает глаз, полукруглые бухты, ограниченные скалами.

В деревнях прозрачные колокольни, яркие, вырвиглазные, может, от пропитанностью солью, цветы, и не жалеют синей краски — двери, оконные рамы. Синее на белых гладких стенах, синее — на серых, шершавых, каменных.

Позавчера мы отмечали в славном ресторанчике на бульваре Сен-Жермен день рождения очаровательной пожилой дамы. Ели, естественно, разное. Я, например, сначала улиток, а потом барашка. Милейшая дама смотрела на улиточек, таких приятных — в ракови-

нах и под зелёным соусом — с лёгким изумлением. Не казалось ей, что они съедобные.

И тут я поняла совершенно ужасную вещь — мы ведь едим тех, кто нам симпатичен, а противных есть не можем. Я всю жизнь люблю улиток — смотреть на них люблю, как они ползают, рожки выставляют.

А не ест улиток тот, кому они живыми противны. Вот, к примеру, не хотелось бы мне есть червяков, змей или тараканов. А почему? А потому что я их не люблю — несимпатичны они мне!

Мне всё кажется, что я живу в таком огромном прозрачном шаре с воздушными стенками, и в нём все, имеющие ко мне отношение — звери, люди, может, и камни тоже. За пределами — такая плоская картинка с вырезными силуэтами. А внутри шара — единственное доступное мне бессмертие. И если каждый окружён таким вот прозрачным шаром, и стенки шаров прогибаются, и входят друг в друга, и над землёй висят такие вот пересёкшиеся, вошедшие друг в друга шары...

Так и лезут в голову сплошные банальности — странная штука общество — каждый — пуп своего мира, и каждый втянут в общую сеть — клошары — максимальное приближение к обособленности, но и они, кажется, всё больше социализуются — выдача им палаток зимой радикально изменила клошарское миропонимание — сейчас на Сене есть клошарник — стоят палаточки, бельишко сушится — теперь им есть что терять — не птички божии — имущество появилось.

Ну, а мои любимые придорожные клошары просто собственники — огромная палатища рядом с маленькими (что в ней?), зонтик от солнца над столом, не только собаки, но и коты — всюду жизнь.

Клошары — это вам не бомжи, это не бедолаги, с которыми случилось несчастье, и они остались без жилья — это убеждённые божьи птички, человеки, не желающие вставляться в установленную систему жизни — дом, метро, работа, метро, дом.

Конечно же, есть уйма способов жить иначе и при этом не на улице, но вот почему-то в Париже испокон веку жили-не особо тужили эти странные птицы.

Не всем же путешествовать по Африке, или ходить с осликом по деревням и показывать в школах кукольные спектакли, как сделали две бросившие работу и квартиры подружки — я о них читала в зверином журнале. Не всем писать книги и картины...

Некоторые подаются в клошары.

Когда я только начинала жить во Франции, а начиналась моя французская жизнь в Анси — маленьком городке в предгорьях Альп — мы возвращались ночью домой, когда к нам подбежала девушка и попросила помочь — она пыталась оттащить с мостовой на тротуар мирно там спящего пьяного клошара — Джейк честно схватил ворчащего сквозь сон и пахнущего отнюдь не фиалками мужика подмышки и отволол его на скамейку...

Однажды в Париже, в садике в Маре, я с интересом смотрела, как очень милая с виду девушка пьёт с клошаром из горла — дешёвейшее вино из пластиковой бутылки — ну, выпивала и выпивала. Я уже относительно долго жила во Франции и не так уж удивилась.

Очень симпатичный клошар, проживавший на площади Контр-скарп, праздновал свой день рожденья — на деревьях висели воздушные шары, на бутылках шампанского были повязаны бантики, в гости пришли другие клошары.

tarzanissimo рассказывал мне про знаменитого клошара с острова Сан-Луи — у него был сын — нейрохирург — в пятницу он приезжал за папенькой на машине и отвозил его домой, но в понедельник папа опять убегал на улицу.

Лет пятнадцать назад произошла грустная история — жил-был клошар, коллекционировал старые газеты, газеты жили в квартире, а клошар на улице. Потом случился пожар — сгорели газеты...

Клошары не попрошайничают в транспорте, разве что полушутливо попросят денег, не отходя от своего клошарского местобитания.

Однажды бегемочья мама проходила мимо знакомых ей клошаров около метро, и один из них, не вполне трезвый, попросил 10 франков. Бегемочья мама вполне справедливо заметила, что даст она 10 франков, и что — он тут же отправится в магазин за бутылкой.

Клошар нашёлся: «Мадам, есть мы тоже хотим, обещаю, что на ваши деньги я куплю бутерброд».

Этой зимой клошарам выдали палатки.

И в жару они поняли, что у реки лучше.

Жара. Ну что ж — жара.

Когда-то в Эрмитаже — прохладном, торжественном — долго стояла, вперившись в привезённую на выставку «Арабскую кофейню» Матисса. Белые тряпки, белые стены, бело-голубое небо. Чистая статика, абсолютность неподвижной тишины.

«А на этом Матиссе меня всегда почему-то раздражала пижама. На картине в пижаме нельзя. Ни то ни сё. Нужно либо при всех ордене и украшениях, либо голым. В кальсонах, и то приличнее, чем в пижаме. Какая-то непроявленность. Подделка, подмена: костюм в отсутствие костюма. Ну, в быту ещё куда ни шло. А на картине — стыдно смотреть. Это в нём, в Матиссе, его буржуазность проявилась» — очередная цитата из писем Синявского, из трёхтомника. Я очень люблю этого Матисса, несмотря на то, что на пижаму мне тоже всегда было неловко глядеть.

Вроде бы, я очень неплохо знаю Марью, и множество раз мы с ней о разном болтали, и слышала я её рассказы. И рассказы Синявского слышала. И много мы с ним разговаривали. И дружим мы. Но вот эти письма — я, кажется, впервые вошла в шкуру.

Два письма в месяц — и все Марья.

Главных героев в этой книге двое — есть ведь ещё Марья. Марья, на которую Синявский взвалил груз, — он пишет только ей — она его единственная связь с миром.

Сталинские лагеря на себя не примеришь, эту историю — примеришь.

Синявский отлично знал, что его посадят. И Марья знала. Когда он рассказал ей, что печатается за границей под псевдонимом, она приняла это знание с полным пониманием, что посадят — вопрос в том, когда. Синявский отнюдь не политический деятель, интерес к общественной жизни у него всегда был слабый — он относился к людям, по поводу которых советская власть, — не отдельные её представители, а именно сама машина, — особенно бесилась, — к тем, кто эту власть мало замечал, живя так, будто и не было её.

И его лагерные письма не о лагере. Эти письма — смешение жанров — признания в любви, беспокойство о здоровье сына Егора, которому было несколько месяцев, когда Синявского посадили, куски будущих книг и статей, ежедневные наблюдения — всё это рядом, перетекает одно в другое. ... Лагерь, конечно, не сталинский — в этом лагере не мучают, — просто скученность, невозможность уединиться, унижение досмотрами и несвободой, невкусная еда, тупая тяжёлая работа. В этих «терпимых» условиях человек живёт, почти 6 лет живёт, ждёт писем, свиданий. Живёт, а не изживает время. Думает. Читает. Пишет.

Из лагерных писем А. Синявского:

«...здешняя моя жизнь в психологическом отношении похожа на пребывание в вагоне дальнего следования, когда роль поезда

исполняет ход времени, которое своим целенаправленным движением порождает иллюзию осмысленности и насыщенности самого пустого времяпрепровождения, поскольку чем бы ты ни занимался, — «срок всё равно идёт» и, значит, дни проходят не даром, а как бы работают на будущее и за счёт этого становятся содержательнее. И как в поезде, пассажиры не очень-то склонны заниматься полезным делом, потому что их существование оправдано неуклонным приближением к станции назначения. ... Жить на изживении у будущего мне неохота. Но дело не во мне, а в парадоксальности ситуации, восполняющей отсутствие смысла жизни осмысленностью её изживания. Иногда кажется, что в таком состоянии, поджидая, когда исполнится срок, люди могут быть счастливее, чем в условиях свободы, но только не вполне сознают эту возможность».

Во вновь открытой Оранжее я после долгого перерыва глядела на Сутина. Я его уже много лет, как люблю — с тех пор, как в конце 70-х нам каким-то образом достались слайды, сделанные с его работ. Потом была Оранжея, и однажды большая выставка в Шартре. Из самых ещё детских — селёдка, присланная ему мамой из местечка в Вильнюс и попавшая на полотно, потом, наверно, всё-таки съеденная. В этот раз я вдруг поняла, что Сутин — жёсткий художник. Яростный. И трагизм, контрастность, резкость весёлого времени между двумя войнами в нём проявлены на полную катушку.

Что отделяет искусство от личных писем и дневников? «Записки блокадного человека» — очевидным образом относятся к художественной литературе. И «записки у изголовья».

А дневник Анны Франк? Тани Савичевой?

Уровень отстранения? Общечеловеческая значимость личности автора? Насколько существенна авторская оценка собственной деятельности?

Впрочем, автор — явление позднее.

Мой любимый диалог Нафты и Сеттембрини из «Волшебной горы» — о коллективном и безымянном средневековом искусстве. Величайшие соборы построены людьми, не рассчитывавшими дожить до завершения...

В какой мере искусство — общение с читателем-зрителем, а в какой инструмент познания мира?

Будет ли учёный работать на необитаемом острове — в целях удовлетворения любопытства?

А литератор? Художник? Насколько необходимо зеркало?

А что такое отстранение? Потребность оставить что-то от себя на бумаге-холсте?

Кстати, как разделить искусство от развлечений?

Является ли искусством масс. культура? Чем руководствуются её создатели?

Искусство — продукт, взаимодействие с «потребителем» непременно присутствует, не определяется вне этого взаимодействия.

Творчество — деятельность, вызванная к жизни двумя потребностями — потребностью в метажизни и потребностью в игре.

Эти потребности у разных людей выражены с разной силой и по-разному.

Дневники (Анны Франк, Тани Савичевой) — результат творческой деятельности. Большинство людей, оказавшихся в сходных ситуациях, дневников не вели. Само по себе ведение дневника показывает потребность в рефлексии, то есть в метажизни и языке для её описания.

Потребность в метажизни может восприниматься и как болезнь («Тонио Крёгер» Томаса Манна, «Графоманы» Синявского). Если человек чувствует отдельные части своего тела, с ними что-то не в порядке, ежели у него чешется душа и требует браться за перо — тоже некоторое отклонение.

Ну, и вторая потребность — игра. По сути — подвид первой — один из сортов метажизни.

Есть и другие... Интересно, какво бакланам, которым и при солнце приходится по десять раз на дню крылья сушить в растопырку — понырял — посушил. Чайкам всё равно. И коровам. В пятнистых кожаных пальто. И новым морским млекопитающим — с лапами и с досками. Когда-то мы по Бретани ездили и каждый день ставили мокрую палатку на новом месте. По утрам пили кофе с круасанами в каком-нибудь воплощающем уют кафе. Небо — не твердь и не ничто — воздух. Тряпка натянутая, проткнутая колокольнями.

В нормандских и бретонских церквях — потолки — корабельные днища перевёрнутые.

Стоишь на каменном полу — у самых ног цветные пятна — солнце через витражное окно. В дверном проёме за травой на ветру слепящее море. В этом остановленном времени море переходит в песок — зыбь в твердь, в зыбкий туман. В голубизну. Настоящее в прошлое. И это голубоватое дрожание на грани воды и суши — точка перехода, неподвижность, остановка. Маячит перед носом.

Плавает в пруду пушистый утёнок — сегодня утёнок, завтра утёнок, а потом оказывается, что плавает утка в перьях...

Должна же быть точка перехода!

Куда естественнее — заснул гусеницей, проснулся бабочкой.

Сон такая естественная граница! Дни дискретны — между ними сон. Может быть, и нужно спать, чтоб отделять день ото дня. Чтобы хоть как-то прерывалась эта окающая непрерывность!

Кстати, в какой-то сказке братьев Гримм героиня, как водится, снашивает сорок железных башмаков в поисках не-помню-чего, и попадает к чёрту, чтоб задать ему вопрос. Но чёрта не было дома, дома была только чёртова бабушка, она в кресле-качалке сидела-посиживала.

Почему же нет сказки, где герой отправился бы прямо к Времени — ему вопросы задавать. Впрочем, Времени точно дома бы не оказалось.

В повторяющихся снах бывшее мешается с небывшим, и не отличить. Кораблики в отлив на песке где-то на Ламанше. Квадратная набережная, точно знаю, что в Бретани, площадь в Риме, стрижи чиркают в небе над верхушкой южного холма.

«Театрального капора пеной»...

Просторно...

Пейзажи приручаются. У меня их, таких вот ручных, почти много. Ну, ручной — это, наверно, оскорбительно — не называть же ручным тигра или волка.

Пусть не приручаются, привыкают к тебе, как когда-то в момент наивысшего счастья, описанный Дианой Фосси в её книжке про горилл — юный горилла взял её за руку — по собственной воле подошёл и взял.

А ещё раньше на северном Кавказе мы жили три дня у подножья Безенгийской стены, только не было стены, ничего не было, кроме рододендронов, да и они появлялись неожиданно, выскакивали из тумана перед самым носом.

На четвёртый день мы проснулись и увидели гигантскую белую стену. Но времени на неё смотреть уже не было, хоть я и попыталась, набирая скорость, съехать на ледник на заднице, только доблестный *bgmt*, забежав вперёд, меня поймал.

А теперь мы буржуи и возвращаемся в сухой длинный одноэтажный дом с гостиной, обшитой вагонкой, и смотрим через стекло на растущие в ряд грушу, персик и черешню. Только что не цветут. Ладно, всё сразу не бывает.

Да и вода с воздухом сегодня разделились, вода сидит себе в море.

Мёртвые рыбацьи лодки брошены на дамбе — между морем и солёным прудом — выцветшие деревянные туши, не доеденные пока что огромными морскими червями.

Гранитная башенка, дебаркадер, катерок в Брест — через залив.

Отливный пляж — если можно пляжем назвать морское обнажившееся дно — хрустит ракушками. Попадают плоские, с большой ладонь, изрезанные, тропические с виду.

Живая яхта ждёт прилива на скрипучем сухом дне.

Травяная дорога вверх от моря. Чтоб убедиться, что оно и за холмом тоже есть.

Облака рассаживаются на дюнах, медленные вместительные дни.

И вторая половина месяца катится с горки.

Я давно знаю, что жизнь измеряется не зимами, но летами. Одно лето, второе .. Мы не так уж сильно отличаемся от деревьев.

Вот я и не умею выбирать — мне хочется, чтоб у меня жили собаки ста пород — как же — и лабрадоров люблю, и боксёров, и спаниелей — так и с пейзажами.

И в каждом из любимых мест хочется, чтоб стоял дом. Нет, чувства собственности у меня нет совсем, но чтоб отметить присутствие, чтоб иметь право сказать пейзажу — мы вместе, я не турист, я хочу пустить корни, заплести их, прорасти.

Когда-то это был кусок Карельского — сосны да озёра.

Вот, например, наш полуостров — куда ни пойдёшь, в конце концов выйдешь к морю.

С одной стороны залив Дуарнене, с другой Атлантика. А между — сосны, папоротники, ежевика, вереск, тёрн, ромашки с чайное блюдце, каменные дома с синими ставнями.

С одной стороны — южная сияющая вода и острые скалы, с другой — пески, дюны, ветер кладёт осоку на бок. «Этот ветер, налетающий на траву».

И в одной прогулке можно захватить всё, и изменится пейзаж тридцать и три раза, и погрееет солнцем, и посечёт дождём, и обольёт волной с пеной, и если повезёт, скажет, что всё правильно — живи и радуйся.

Что значит приручить пейзаж? Почему мы непрерывно возвращаемся?

Есть пейзажи, в которые я выросла — дом — их несколько, этих моих домов.

Я бы ездила смотреть на новое, если б уже жила у моря, ежедневно впечатываясь в эти холмы, кусты, скалы, песок...

Хватаюсь за неизменность. Всё та же собачка в блинной на ферме, и хозяйка так же улыбается. И стоит белый домик глазастый. И марево там, где смыкается вода с песком. Накатывающие волны на конец земли, и белые лошадки, и черешня, и местные помидоры на базаре.

Это была наша последняя поездка с папой. Сюда, в этот белый домик с лужайкой перед ним, с террасой.

В городке Сен-Геноле оголтело орут чайки. Орут над крышами прилепившихся друг к другу белых домов с синими ставнями. А я пытаюсь поймать в кадр взлетающие над грудой камней в море брызги.

И кажется, почти ухватываешь смысл, — лезущий в глаза, в уши, в нос, скользящий из пальцев...

Смысл-крысл — отпечатать на сетчатке, прикрепить булавкой — не рыпайся!

В чём разница между собственными воспоминаниями и прочитанным в книжке?

Где, какими мышцами, каким иным запахом мы отличаем своё от чужого?

В 79 году в Риме над самым дешёвым рынком под названием *mercato rotondo*, который и в самом деле кругом опоясывал площадь *Vittorio Emmanuele*, стояли хриплые вопли — *tre kili una mille!!!*

Три кило апельсинов, три кило помидоров — налетай, хватай! Денег у нас, живущих на пособие свеженьких эмигрантов, ждущих в Риме американских виз, хватало как раз на то, чтоб покупать еду на этом чудеснейшем из рынков — печёнку, апельсины, помидоры. Увы, больше его нет — вместо него куда более скучный крытый.

А первые эмигрантские итальянские слова были, конечно же, *quanta costa*.

Когда я пришла сегодня на наш рынок, над ним стоял ликующий крик: *un euro pour tout! Un kilo — un euro!*

Над разноцветными грудками на прилавке — провансальскими помидорами, альпийской черешней, жёлтыми перцами, не знаю уж откуда — были написаны совсем другие, обычные цены.

Торговали молодые ребята — мальчик с девочкой. Они радостно раздавали всем жёлтые полиэтиленки — налетай, забирай, всё по евро, уезжаем на каникулы!

Домой я шла, волоча одной рукой переполненную тележку, а в другой тянущие к земле мешочкище черешни и мешочкище абрикосов — хорошо, что сегодня к нам приезжают french_man и alta_voice с крокодилами, — сожрём!!!

Машут бесчисленными руками деревья — может быть, Шива — это дерево такое?

Наш декан, когда идёт по улице, поёт себе под нос: трам-пам-пам. Пожалуй, и не стесняется, когда кого-нибудь встречает.

На любом собрании, на любом семинаре, самом разумном и нужном, я рассматриваю уши присутствующих — уши так похожи на съедобные ракушки, или на печенья — погрызть бы их. А в метро как иногда хочется дёрнуть кого-нибудь за шарфик, или за хвостик.

Покривляться, даже не обязательно перед зеркалом — пальцем прижать нос, чтоб получился пятачок, или наоборот потянуть вниз и попытаться достать до кончика языком — как же без этого! И побуквать.

«Ха-ха-ха
Да хе-хе-хе,
Хи-хи-хи
Да бух-бух!
Бу-бу-бу
Да бе-бе-бе,
Динь-динь-динь
Да трюх-трюх!»

Однако мы вполне нормальны и воздерживаемся от подобного асоциального поведения при посторонних.

Сумасшедшие же, видимо, не смотрят на себя чужими глазами и ведут себя на людях точно так же, как в одиночестве.

И дети тоже. Собственно, в этом смысл сказки про голого короля. И смысл социализации...

Цветные картинки из книжки — повторяющиеся, успокоительные.

Вот этот кот бело-рыжий — ходил ли он по крыше два года назад? А может быть, другой кот? Не может такая крыша жить без кота. Но крыши живут дольше котов. И деревья тоже.

Мир полон следов — бабушкин кувшин, в который она ставила купальницы летом 1964 года. Купальницы с усть-нарвского луга. Надписи на стенах. Мой компьютер помнит папин пароль в gmail.

Декорации живут куда дольше действующих лиц. Лица сменяются, и декорации привыкают к новым... А нам приходится принимать этот порядок вещей и радоваться коту на крыше даже, если кот — не тот. Впрочем, кому-нибудь ведь он — тот, и если глядеть на этот мир в подзорную трубу с луны, сделанной из гамбургского сыра, — он несомненно правилен и прекрасен — кот, герань, внутренний дворик, за спиной у которого едут машины, идут люди по тротуару...

Гриша вчера залезла на оливу, почти на самую верхушку, оглядела мир с высоты и не дождавшись помощи от злых двуногих, слезла сама. А сегодня от полноты чувств взбежала на наклонный пробковый дуб, попавшийся у неё на пути, когда она галопировала в роще.

Сад за год зарос так, что от стола под глициниевой крышей не видно улицы. На сосне живут горлицы. Вечером ссорятся сойки. Луна, как водится, светит в распахнутую дверь электрической лампой.

Прошное лето зацепилось крючком за это. И Время (вроде бы в какой-то сказке, которую *mrka* смутно помнит, один из героев — старик Время), похожий как две капли воды на слегка постаревшего Зевса из Эрмитажа, пока молчит, поглядывая на развалившуюся на диванной подушке Гришу.

Олеандры после дождливого июня сияют ёлочными лампочками.

Тёплое море дышит — живое сияющее. Накатывает волна, отступает, пенится.

Здоровущий краб в каменной щели пытается ухватиться за протянутый палец, неудачливая клешня застывает открытая. Табун кефали, выпуклый глаз какой-то большой рыбы смотрит не мигая. Рыбки синие в клеточку, рыбки в золотую полоску, рыбки-стрижи с раздвоенными хвостиками.

Собственное недвижимое движение — над бликами над песком, над камнями, над водорослевым лесом.

Один слон идёт, второй слон идёт...

Упругий удар мяча о ракетку, бадминтонный волан сносит ветром на пляже в Усть-Нарве.

Зелёный мячик застывает над песком и аукается Диланом Томасом, перелопаченным *tarzanissimo*

«Предания всех времён в мою жизнь вплелись.
И грядущим векам тоже, наверное, предстоит...
Мячик, который когда-то в парке я кинул ввысь
До сих пор ещё не вернулся, ещё летит.»

То ли в 82-ом, то ли в 83-ем году была в Бостоне конференция «Литература в изгнании».

Я на ней впервые увидела Синявского и влюбилась. Леший с огромной бородищей, один глаз на нас, другой на Арзамас, Синявский читал доклад о своих первых впечатлениях об Италии, да и вообще о Западе. Он говорил о надёжности Европы, культуры, об избавлении человека, впервые вылетевшего из клетки, от предрасудков и страхов.

Читал Синявский всегда мощно, трубно. Даже и просто доклад. А уж когда он читал «Левый марш», трудно было усидеть на месте, и становилось вполне ясно, что иерихонская труба могла разрушить город.

На этой конференции выступали многие. Не помню уже о чём говорил Наум Мойсеич Коржавин — старик по моим тогдашним представлениям — с симпатичным клоунским лицом. Когда Коржавин кончил говорить, к сцене подбежал молодой Аксёнов и помог Коржавину спуститься.

Очень славно выступил человек средних лет Войнович. А закончил он тем, что сказал, что послушав некоторых, удивляется желанию людей из СССР давать советы западным людям — непонятно, чему может научить человек, всю жизнь прошедший в тюрьме, людей, живущих на свободе.

Коржавин, Аксёнов, Войнович были тогда примерно одного возраста, и было им примерно столько, сколько мне сейчас. Ну, Коржавин старше лет на 8. Мальчик Аксёнов, дяденька Войнович, старик Коржавин. Мне тогда ещё не было тридцати, и чужой возраст казался вполне весомым. В моём поколении не умели не видеть возраста, и к великим старухам ходили в гости, помня, что они старухи.

... Затоваренная затюренная цветущая жёлтым цветом бочкотара валяется где-то на задворках в траве, привалившись к стенке сарая, и грузят ящиками апельсины из Марокко.

Всё, что Аксёнов писал долгие последние годы, было мне совсем неинтересно. А всё-таки какие прекрасные рассказы «Маленький

кит — лакировщик действительности», «Товарищ красивый Фураж-кин», «Местный хулиган Абрамашвили», «На полпути к луне»... Живые радостные рассказы из времени, когда мир был юным, и всё было впереди.

И как всегда, как всю жизнь — впереди бесконечная дорога, — только бесконечность всё короче и невстреч всё больше.

И чем дальше, тем меньше значат большие города, по суги они для меня сводятся к Риму и Парижу. Есть ещё память — Ленинград. Зимняя пустая Венеция, и лежащая Флоренция, когда смотришь сверху на раскинувшуюся в синих всечеловеческих холмах. До сих пор вздрагиваю, когда вижу фотографию купола и башни — не поверить, была и буду, видела, знакома. Неужели я?

Моя потребность в какой-то конкретной географии, заполняющая вольное время иными привязками, чем ежедневные передвижения между Медоном и Вильжюифом с пробегами через Париж, наверно, связана очень сильно с ощущением пространственной памяти.

Иногда дело в острой эмоциональной памяти. Не то чтобы я пыталась испытанное опять переживать — но ищу подтверждений моей протяжённости во времени. В конце концов — чем не кино — просмотр собственного — пространство в этом деле ключ.

Может быть, всё усиливающаяся у меня потребность в пейзаже — ещё и битё в закрытые двери — комплекс недостаточного участия в созидательном.

Теорем не доказываю, книг или картин не пишу, но общение с пейзажем даёт ощущение смысла, хоть и мучает, что не рисую...

Что печальней — не успеть или не вернуть...

Дождь усиливает сущности. Сегодня утром температура упала градусов на десять, — пахла трава, прибитая пыль, хрустело под ногами — ветки, сучки, рыжая уже рябина перелетела через улицу и приземлилась в луже на противоположном тротуаре.

И рваные облака, и подсвеченный дождь на закате швырял капли в стекло. И Гриша, услышав тополиное шипенье, помчалась от окна, раздвув хвост, только серые пятки сверкали.

Правильное лето. Изменчивое. Жара, шипящий шлёпающий дождь. Тонкие серые облака нарисованы на тёмных тучах. Пузыри плывут парусами по лужам. Мешаются запахи — цветочные, пыльный, бензиновый. Подставляет башку для почёса лабрадористый дворник, привязанный к пришвартованному у столбика велоси-

педу. А щенка английского бульдога проносят по улице на руках, и свисают толстые лапы.

Тревожное лето. Потому что я помню про зиму. И глядя на шипящую древесную зелень, на лезущие из дыр лопухи, не могу выбросить из головы — что станет темно по вечерам, и голые ветки опять проткнут небо. И хватаюсь за каждый день в растерянности.

В Триесте в баре возле дома был лучший на свете рислинг. Мужички, игравшие там по вечерам в карты, пили его стаканами — почти бесцветная чуть желтоватая водичка лилась из крана на бочке. А нам этот рислинг наливали в пластиковые бутылки из-под Аранчаты.

Мгновение и я сижу в Дефансе на скамейке, жую бутерброд и думаю, что жизнь отличается от рассказа отсутствием сюжета...

Такая маленькая вечность — жизнь ли впереди, лето ли — но когда только что я лежала на спине в длинном 50-метровом и широченном бассейне, глядя на невесомые облака, мимо которых чиркали стрижи, разница не давила — пусть маленькая, но вечность...

Втиснуть бы в неё всё, что хочется — заняться с Васькой переводами из Арагона, переписать осенний курс алгоритмики, начать разбираться с нашим следующим учебником, который в первой версии надо сдавать в декабре, — и четыре недели — плавать, плавать, плавать с маской и не умирать от зависти к тем, кто с аквалангом, а потом неделю ходить по горам, а ещё научиться использовать возможности нового аппарата, снимать аппаратом *aguti* под водой, — и чтоб длилась эта вечность, не кончалась, и не думать о зиме...

В метро человек с интеллигентным лицом негромко без микрофона пел под гитару — Брассанса и что-то ещё английское, и диалектно итальянское.

Тянись, лето, ленись!

Я проснулась сегодня в страшное время — чуть до рассвета — в шесть. Время, когда из тёмных углов выползают ужасы и неизбежное когда-нибудь, — чур меня чур, не сегодня бы, — проживается настигшим, хватает за горло, за плечо, останавливает — короче, 6 утра.

Но этот предрассветный, когда из серости вдруг проступает голубизна, час не был страшен. Мир мягко обволакивал, плавно поворачивался вокруг меня вместе с сидящей под каменной стеной Гришкой, спящим Васькой, фыркнувшей во сне Катей, проступающим в цвете олеандром, лесным голубем на сосне.

На компьютер с сухим стуком упала длинная сосновая иголка.

Вот сад — цикады, одна совсем близко, за правым ухом, и если совместить темпы, то увидишь, как распускаются цветы. Чего б не выйти садовой душе — зелёнобородому смотрителю, похожему на Синявского — глаза разные, очки на носу. Нет, Синявский, конечно, леший, но где леший, там и садовый.

И отсутствие козьих копытцев очевидное неудобство.

В середине лето.

Неужто оно кончится? И голые ветки будут слепо тыкать в мёртвое небо?

Говорят, что в зоопарке в раннем детстве я больше всего любила уток. Я этого не помню. Тогда утки на Неве ещё не жили.

В сказках рассказывалось про волшебных птиц — цапель, ходивших в гости к журавлям, и сорок-белобок.

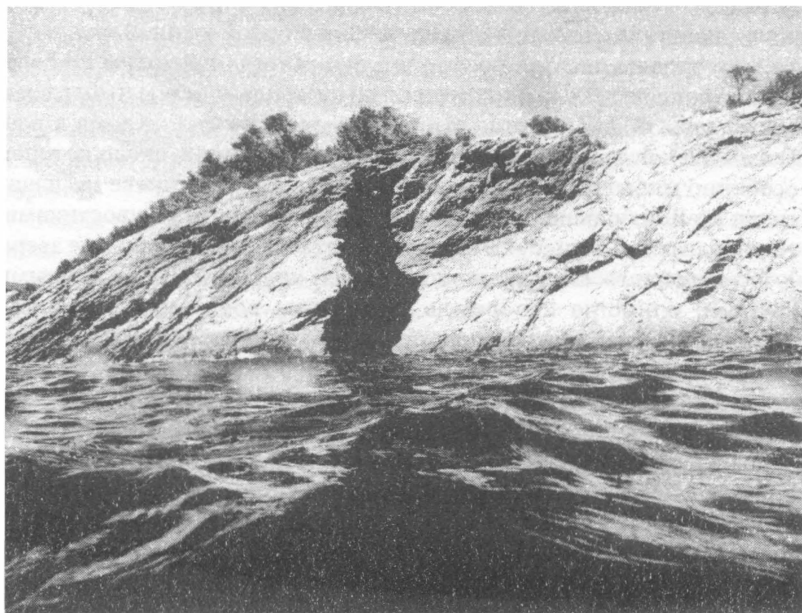
Когда я училась в десятом классе отец моей любимой подруги завёл ньюфку Яну, и с тех пор синонимом собаки стал ньюф. Хотя ньюф- это ведь вовсе не собака, это мохнатая чучелавека с вовсе не собачьим характером.

Сороки-белобоки-лиловохвостки сварливо ссорятся по утрам под окнами, а в городском пруду в окружении бетонных коробок, стоит по колено в воде задумчивая цапля — размышляет о вечном. В катиной шерсти запутались какие-то мелкие зелёные шарики, которые она вечно подбирает в кустах. И растёт малина на опушке нашего леса, и вырубка заросла сияющим иван-чаем.

Может быть, если я буду жить долго, у меня заведётся друг ослик Ося и приятель — сиреневый куст.

Жизнь удалась?

АВГУСТ



На Средиземное море, в сад — смотреть, как сосновые кроны качаются в густо-синем небе. На каникулы у меня всегда планы-планы. И про то написать, и про другое. И что-нибудь выучить новенькое... Это кроме плавания, прогулок, работы с Васькой...

Получается из этого почти пшик — не потому даже, что очень трудно упаковать в тугое время всё, что хочешь в него засунуть — эдакая the knapsack problem, эквивалентная, как известно, the travelling salesman problem.

Отвлекает, как ни странно, пейзаж, — захватывает и занимает всё пространство.

Живем мы так упорядоченно, что даже странно. Длинные дни, похожие один на другой, и все равно слишком короткие. До моря 3 минуты через рощу. На море тихо, пустынно, из прозрачной воды иногда выскакивают маленькие серебристые рыбки, которые имеют странное обыкновение слегка кусать за ноги. Катя плавает за мячиком или за палкой.

Возвращаемся. Долго завтракаем под глицинией. Дальше может быть два сценария: есть дни гуляльные и дни рабочие. В рабочий

день на стол под глицинию выносятся 4-5 компьютеров, и часов до пяти никто не двигается с места. После пяти плавание (час или полтора), прогулка с Катей, поливка сада и длинный ужин. В гуляльные дни мы уходим плавать после завтрака. Иногда проходим по береговой тропе несколько километров до пустынной бухты и уплываем оттуда часа на два. Иногда отплываем практически от дома и плаваем часа четыре. У нас есть любимая скала в море, около которой особенно много рыб. Там очень глубоко, и когда в синеве плывешь среди стай небольших черных рыбок с раздвоенными хвостиками, то определенно по небу со стрижами летаешь. Мои любимые звери — осьминоги — смотрят из-под камней круглыми осмысленными глазами, и иногда кто-нибудь щупальцем помашет. Когда пугаются, застывают, нужно тогда отплыть и замереть, и осьминожка, решив, что в безопасности, отправляется по своим делам, извивая щупальце. Кефаль носится с жуткой скоростью и деловитостью, и всегда почти в стае. Ракушки, живущие на камнях, неспешно ходят друг к другу в гости. В каменных расщелинах полеживают маленькие большеголовые зеленые рыбки, похожие на сомиков, их почти удастся накрыть рукой, ускользают только в последнюю секунду. Камни сияют розовым и синим, клетчатые блестящие сине-зеленые рыбы с ними гармонируют. Мурены полеживают на дне и пугают змеиностью. Но больше всего дорад — серебристых с продольными золотыми полосками. По вечерам они плавают огромными стадами. И на дне сверкают, как консервные банки.

Несколько дней назад я встретила осьминога на песчаном дне — ему некуда было спрятаться, не было поблизости ни камней, ни щелей. Когда я к нему нырнула, он повёл себя, как настоящий кот — раздулся раза в три и растопырил все свои щупальца, чтоб показать, что он очень большой и страшный. Несколько лет назад осьминог от испуга плюнул в меня чернилами, море замутил. Вообще же осьминоги удивительно приятные звери — они поглядывают и даже подмигивают, а некоторые и щупальцами приветливо помахивают.

Прошлогоднее море плавно перетекло в море этого года. Я вхожу в нашу здешнюю жизнь, как в уютные тапочки — ни к чему не надо привыкать. Море-сосны-сад-крыша над уличным столом — обеденным и письменным — балки, на которые наброшена глициния. По балкам бродят ящерицы.

Дни бесконечные и очень короткие. Они длятся, и они проходят за минуту.

Сверкают камни на дне, розовые с прозеленью, сверкают рыбы у дна, и я каждый раз думаю, что они сверкают, как консервные банки, скачут солнечные пятна, качается подводная трава, и начинает слегка кружиться голова, потому что качаешься в одном ритме с этой травой. На глубине смотришь вниз через слой синего стекла, рыбы внизу тенями, возникает перед носом подводная скала, обросшая травой и ракушками, вместо синевы голубизна, и летишь над горами.

Когда ветер и волны, можно заплывать в пену у скал. И шум в ушах.

Сияют перламутровые ракушки, за ними я иногда ныряю. Чтоб нырнуть, нужна какая-нибудь цель.

И плыть надо с целью — доплыть до скалы, где в расщелине живут золотые рыбки, или до скалы, где глубина такая, что дна совсем не видно, и в синем стекле рыбы разные — и чёрные с раздвоенными хвостиками, про которых я всегда думаю — стрижи. Очень приятно смотреть на рыб, плавающих около закинутого крючка и даже не думающих о том, чтоб схватить наживку. Стоит на скале рыбак с удочкой и смотрит на поплавок, а рыбки только хвостиками машут.

Кроме подводной жизни есть ещё скальные тропы вдоль моря — вверх-вниз, сосны, горячий сосновый дух, и камни на дне — с высоты. Такие тропы — Катино счастье, особенно когда вниз, в море.

И работать в саду — лучше не бывает — то гекко на балке, то персик, то помидор, то сойка — и Дилан Томас, которого мы мучаем второе лето, укладывается в голову куда лучше, чем в квартире.

Читая у Дилана Томаса про «torrent salmon sun» и пытаюсь найти какие-нибудь русские слова, я представила себе, как читает кто-нибудь англоязычный

«Я начертил на блюде студня косые скулы океана» и думает — the slant cheekbones of the ocean — ЧТО ЭТО?

Когда мне исполнилось 8 лет, папа сочинил для меня стишок:

«Ты живёшь в квартире нашей 8 зим и 8 лет
Съела два вагона каши и один вагон конфет»

В Провансе очень вкусные помидоры. Мы их едим, едим, едим... Но они на нас всё-таки, кажется, не глядят.

В море здоровенный кальмар долго плыл, красуясь всеми своими трубочками неизвестного мне назначения, а потом спрятался на песке под травкой — и тут-то маленькая рыбка поплыла к нему на обед.

Отличить шум моря от шума сосен нельзя. Слышишь сильнейший прибой, бежишь к морю с надеждой увидеть мощные волны — море тишайшее, только чмокает, а ветер шумит в сосновых кронах. «Там волны выше этих веток».

А ночью чаще всего тихо. Совсем. Толстые аппетитные звёзды. Две ночи подряд я выходила в середине ночи в сад, вываливалась из кровати прямо в распахнутую дверь.

И оба раза падали звёзды. Август. Им положено падать. В первый раз я обрадовалась — так звезда славно упала. С совсем небольшой высоты, очень косо. Во второй раз я посмотрела на небо и подумала, что приятно было бы, если б опять звезда упала — и надо же, тут же и упала. И опять косо, с небольшой высоты.

Я вот всё пыталась понять, почему я так балдею от провансальского и итальянского неба — синего до головокружения, в котором зелень сосновая и эвкалиптовая тонет.

Шли мы втроём с *mrka* и нашей подругой Танькой через рощу к морю, задрав головы к небу, к сойкам и белкам в соснах. Сойки кричали, а белки трещали ветками. Я чего-то бормотала про небо. Танька послушала меня и сказала, что всё просто — сидишь внутри синего воздушного шарика.

Ночью бормочется «сколько звёзд — как микробов в воздухе», — изголовье кровати на пороге открытой двери в сад — очерченное деревьями небо — театральная декорация, или ночное кафе в Арле.

Дни катятся не как бочки, скорее, как разноцветные пляжные пластиковые мячи, не тяжёлые, а просторные.

А по вечерам к нам в гости приходят гекконы — их двое, они устраиваются около лампы на стене в саду и ловят бездумно летящих на свет мотыльков (почти как наша кошка, только кошки хуже ходят по стенам). У гекконов глаза — чёрные бусинки, и морды слегка удивлённые.

Сколько же на свете существует радостных мелочей — вот хоть посмотреть по вечерам на гекконью охоту.

А ещё бывает трамонтана. Мистраль дует с севера, из-за Альп, а трамонтана с запада — с Пиреней. Провансальцы говорят, что трамонтана приносит тучи, а мистраль дует в синем небе.

Медузы, появившиеся после мистраля, унеслись с трамонтаной — медузой парусной флотилией — колокола над водой надуваются, щупы сзади трепещут флажками.

В этот ветродуй в холмах над морем мы отыскивали маленькое теплейшее озеро — сладкое с рогозом по берегам — пустота невообразимая — ветер в кронах, барашки на море где-то там внизу, рыжая земля и ощущение, что кабанчики и мало ли кто ещё, затаились и смотрят на нас нестрашными глазами, только некоторые представители показываются — сойки, белки, маленькие птички-зеленушки, да синие стрекозы.

Стаи золотисто-полосатых рыбьих подростков больше всего похожи на фейерверк — взмывают вверх и расходятся зонтиком.

По облачным ночам небо превращается в стёганое одеяло, а в лунные — сияет, напоминая о чеховской «Чайке», облезлая дверная ручка.

Пару вечеров назад мы слушали первый концерт Шостаковича. В саду, возле нашего огромного стола под глициниевой крышей. Отличный концерт, ещё молодой, не трагический Шостакович, — заполняющая пространство труба — и вдруг вступила цикада.

Потом замолкла, потом опять. Концерт для цикады с оркестром — правильная мысль, между прочим.

Кроме запахов, бывают ещё и звуки. Звон вилок в тишине, уводящий прямым ходом в Венецию, — нет машин, и вилки в тихом нетуристском углу, где бродят, задрав хвосты, коты-мордовороты, звенят под плеск воды и итальянские пронзительные голоса.

Крики стекольщика на парижском рынке *verrier-verrier*. Запинающийся рояль из окна весной.

Цикады, стрекозы над водой — или затёртое дрожание их прозрачных крыльев и не слышно совсем?

Шипенье волны на песке, горная река на камнях. Гром, костёр.

Тот самый дождь. стучащий по капюшону, как по крыше палатки.

Сосны, уводящие в море, — на них пастерначья печать.

И подрагивающие звенящие мачты, бредущие к коровьим колокольчикам.

Это если не считать соловьёв, петухов, лягушек.

Шаги в жаркий день у соседей за кустами — замерли.

Эта живая материя — эта raw data — её прямо без обработки вводит Родион Щедрин, когда у него в начале симфонии настраивают оркестр.

Я сшивается большими стежками — звуками, запахами.

Они ведут в одну сторону, сворачивают, бросаются в другую.

Звуки, запахи — опоры и верёвки одновременно.

«Когда б вы знали, из какого сора»...

Вчера били о берег мутноватые медузные волны, каждая зашвыривала на песок часть принесённых злых куполов, остальные оседлавшие волну, так и катались, откатывались, накатывались вновь.

А сегодня голубая золотистая прозрачность, — говорят, ветер поменялся, унёс медуз.

Принёс сотни, унёс сотни — серо-жёлтая мутная песчанистость, невыносимая для глаза прозрачность — холод-тепло-тепло, слабая рябь — море живое, вздыхает, ворочается, безмятежное лицо, улыбка, наморщенные губы.

Наверно, воздух тоже живой, но мы не можем двигаться по воздуху.

Недвижное время.

Ещё день прошёл, похожий на ёлочную игрушку. Большая медведица завалена почти у горизонта. Пахнет сосна.

«Земляничную поляну» я посмотрела лет в шестнадцать. От родителей знала, что это великий фильм и страшный — как же — часы без стрелок. Испытала ожидаемые эмоции — да, мурашки по коже, да, здорово.

Пересмотрела лет двадцать назад. Оказалось совсем не страшно, поразило, какой это нежный фильм, какой обнадёживающий. Переключается со «Скучной историей», только в «Скучной истории» надежды нет. К тому времени я знала страшного Бергмана — «Крик и шёпот», когда с экрана бьёт подспудной ненавистью и злой памятью, «Сцены из жизни марионеток» — их почти и не показывают — из-за невыносимости, я думаю, — в первой сцене герой сначала убивает проститутку, а потом насилует, в последней он сладко засыпает, прижимая к себе плюшевого мишку, — в кроватке в сумасшедшем доме, а в середине советуется с психиатром — объясняет ему, что каждый раз, бреясь, испытывает желание перерезать горло собственной жене, но психиатр, их общий с женой друг, объясняет, что жена не умрёт мгновенно, что у них ещё будет время всё это обдумать...

И нежный фильм «Фанни и Александра», и удивительно человеческие «Сцены из супружеской жизни».

Хотя Бергман — не мой режиссёр. Мой — Феллини.

«Затмение» я тоже посмотрела в школе. То ли до, то ли после «Июльского дождя». Помню капающий кран. Но «Июльский дождь», поражающий сейчас смесью невозможной наивности с кружащимися под «Простите пехоте» в исполнении Визбора ночными мо-

сковскими троллейбусами, задел сильнее. Собственно говоря, выходящие из-под печатного станка бесконечные «Незнакомки» — это клише сейчас, но не тогда. В конце концов, и «Зеркало», казавшееся таким усложнённо-сложным, выглядит теперь чуть ли не упрощённым.

А вот «Профессия — репортёр» — бедуины в белых тряпках, жара, песок, Мария Шнайдер в огромном до сих пор не достроенном соборе — ни одна актриса не казалась мне настолько естественной и родной.

И «Забриски поинт» — баклажан, медленно кружащийся в синем небе. Безоговорочное — да — на стороне этих сорвавшихся с цепи ребят.

В Париже, за Эйфелевой башней, почти на выезде из города есть здание, где на глухой стене ещё несколько лет назад была галерея портретов — «они сделали двадцатый век» — Эйнштейн, Чаплин, Ленин... Не помню, был ли Гитлер. Наверно, да. Художественной ценности эти портреты не представляли. Вот и уничтожили стенку.

Всё идёт своим чередом. Люди вырастают на произведениях искусства, созданных теми, кто несколько старше — на поколение, на полтора.

Всюду пишут, что скоро образуется множество рабочих мест — научных, инженерных — уйдут бэбибумеры — люди с культом вечной молодости...

Но ведь и старый Джолион в конце позапрошлого века, восьмидесяти-с-чем-то-летний, влюблённый в Ирен, думал про то, что ужас старости не в том, что стареешь, а в том, что остаёшься молодым.

Так что и тут — не ново. И не ново — считать, что ушли лучшие, гиганты, гении. А оставшиеся — есть игровые, любопытные, изящные, неглупые — ну и что?

Не ново...

С детства знаю, что самый короткий роман — восточный — «они жили, страдали и умирали». Впрочем, задумчивый бегемот ещё укуротил, — «жил-был-выл».

А мой любимый Олег Григорьев сосредоточился именно на выте.

«Ездил в Вышний Волочок и купил себе волчок,
Утром, лёжа на полу, я кручу свою юлу.
Раньше жил один я воя,
А теперь нас воет двое».

Вообще-то есть ещё хармсовский подход, мне он, собственно, ближе — про старичка, который смеялся чрезвычайно просто. «Хи-хи-хи да ха-ха-ха».

Так или иначе, вся литература вертится вокруг того, что «живут и умирают», а уж страдания — это кто как.

Ну, или иначе — литература бывает о времени, о пространстве, о жизни, о смерти.

Наиболее мне естественный подход — человек смотрит на пейзаж, на комнату, на яблоко, и за ним видит смысл — те или иные дали. Начинается полёт ассоциаций. Разговор о смысле жизни и неизбежности смерти. У Дилана Томаса подход противоположный. Будто бы стихи пишет Костя Левин, прячущий от себя ружьё, чтоб не застрелиться.

Волшебный фонтан отпущенных на волю ассоциаций — из вязнущего в зубах прямого разговора о зачатии, как первом шаге к гробу. Дорога от зачатия к смерти интересует его именно в своих крайних точках. И быстро наступает момент, когда я уже не могу без смеха читать про *womb* и *tomb*. В первом прочтении. Вернее, во втором. В первом — только звучание. Волшебные перепевы слов в слова. Ощущений в ощущения. А в третьем захватывает совершеннейшая безудержность ассоциаций. Но во втором — вилкой по тарелке. Да, да, знаем, родимся, а потом помрём.

Но, чёрт подери, ведь дорога-то хорошая!

Томас — безудержный романтик, дорога его не слишком интересует, но тут возникает параллельная тема — рождение стиха.

Он непрерывно крутится в этом романтическом и фрейдистском сюжете — рождение — маленького гения Дилана — рождение стиха, и здесь-то путь интересен — воспитание стиха, потом смерть, но бессмертие стиха.

Впечатление, что Томас пьянствует и дебоширит не для удовольствия, а даже и почти что по обязанности. А ещё — несмотря на обилие цитат, реминисценций хоть из Джойса, хоть из Мелвилла, конечное впечатление поэта не интеллектуального, а скорее есенинского духа, даже некоторая местами надуманность — эдакая с рубахой на груди. И он себя не читает — поёт (по ощущению что-то вроде очень сильного *county*). И тут уж не устоять совсем. Начнёшь на него злиться за *womb* и *tomb*, за отсутствие синтаксиса и смысловых связей между словами (чисто субъективно-ассоциативные), поставишь диск, где он себя читает, и замираешь, и плывёшь за стихом.

Стихотворений двадцать абсолютно гениальных и, как ни странно, кристальных.

Три типа стихов — те, в которых Томасу удалось пробиться через косноязычие к звонкой прозрачности, где ассоциации выстроились в скульптуры из разноцветного стекла, и отпало лишнее, никакой барочности. Смысл заточён в эту искрящуюся жёсткость, Что-то от хрустального ножа.

Вторая группа — стеклянные глыбы с переливами света в гранях, расплывчатые картины, скачущие ассоциации, плетущиеся световыми нитями, отскакивающие и отражающиеся. Непроизвольные.

Третья группа — плохие стихи — натужные ассоциации, деланные, подгоняемые романтическим хлыстом. Их спасает только то-масовское чтение.

Собственно говоря, мне кажется, что Томас — великий поэт в прозе («The portrait of an artist as a young dog») и автор пары десятков гениальных стихов. И нескольких десятков полуабстрактных играющих бликами стеклянных глыб.

А как переводить?

Гениальный Томас особых проблем не представляет — идти дорогой зелёного стекла за ассоциациями.

А менее гениальный?

Иногда к очень хорошему Томасу близок Маяковский. И это понятно — оба идеологические романтики.

«Я сразу смазал карту будня, плеснувши краску из стакана,
Я начертил на блюде студня косые скулы океана...»

Только тут фраза нормально построена. А если без синтаксиса? А если неизвестно, где глагол, где существительное? Остаётся — послушать, как он читает, закрыть глаза и сомнамбулически — нет, не последовать за ассоциациями, это невозможно, а заплести свои, петлю за петлёй, не заботясь о связности, — найти интонацию, — и отпустить ассоциации с цепи, сверяясь иногда по ключевым словам.

Мир — определённое состояние многопараметровой системы. Листик упал с дерева, кто-то умер — следующее состояние на бесконечной ленте Тюринга.

Сегодня утром на сосне сначала мелькнул тёмный, почти чёрный хвост, а потом и приделанная к нему белка. Та, которую я видела год назад? Её дочка, бабушка, подруга?

А с точки зрения белки — как? Она меня раньше видела, или нет?

Ну, а если сосредоточиться и смотреть на кроны под ветром и вслушиваться в завывания мистраля, то при определённом усилии можно представить себе, что просверлив в земле дырочку и кинув туда маленький камушек, попадёшь в Австралию, если только камушек не сожрёт по дороге маленькая зелёная камнеёжка.

В тихую пасмурность мы ходили по горам. И не по ближним, а по тем, что километрах в шестидесяти. По зелёному Провансу. По мягким заросшим лесом холмам. Через виноградники с кистями тёмного матового винограда. Шкура жёсткая, и костей много, но если выплёвывать, так очень вкусно. Через сосновые леса, пахнущие не только тёплыми иголками, но кухней — травкой «утешение желудка» — розмарином, анисом. И можжевельником. Купались в зелёной холодной горной речке, недалеко от водопада, потом в тёплом озере. И долго шли вдоль журчащего канала. Под полукрышей из фиговых деревьев. И даже я полюбила спелые размороженные чёрные фиги. Городок Carcés, где стояла наша машина, зарос платанами. Древними, стволы неохватные.

Употребить другие слова — не канал, платан, фига, а арык, чинара, инжир — и «своё бормотали арыки, и Азией пахли гвоздики.»

Но не похоже на Азию, совсем. Не будем переводить.

А всего-то дышит ворочается шипит море. И пространство легко делишь и с древними римлянами, и с разбойничьими провансальцами. И камни вздыхают на мелководе, и вздыблены зелёные спины разлёгшихся в море холмов.

Когда-то в Питере в вестибюлях кино, в клубах устраивались выставки «Природа и фантазия» — лесные палочки, коряги, напоминающие зверей и птиц. Иногда слегка обработанные, а часто и вовсе нет.

Искусство предполагает зрителя, соучастие, домысливание.

Тени — отстранение объекта от образа. Чем не искусство? Тени рыб скользят по дну, чаек по прибрежным камням, лодок — качаются на воде, наши — гримасничают на скалах.

В болтовне о том о сём почему-то помянули станцию «Приморская». Дескать, там меньше народу, чем на Василеостровской, хотя это и странно — вся Гавань ездит до Приморской.

Я там никогда не была, но как-то во времена, когда в Россию из Парижа ездили на поезде, а билеты покупали на тогдашние рубли, так что по курсу выходило, что едешь за сто уже несуществующих франков, мы с мамой по какому-то делу, связанному именно с по-

купкой этих ничего не стоящих билетов, ездили в гостиницу «Прибалтийская», примерно туда.

Очень тёплый вечер. Неподвижный. Гугутка кричит. Цветы очень яркие в последних остатках света. Этот печальный месяц август. Этот конец лета. Умытые начищенные скалы и блики на воде.

И белка на дальних соснах, почти чёрный хвост.

Осенние бури на финском заливе, перевёрнутые скамейки, серые волны.

Цикады. Блики-тени-блики.

21 августа день рождения у моей двоюродной сестры. Мама вышла из автобуса в Усть-Нарве в 1968 с огромным неподъёмным полосатым арбузом и сказала: вошли.

А перед тем месяц под верещанье спидол по вечерам на пляже.

Опять август.

А кроме политиков-кукловодов, ещё есть вооружённые борцы, готовые за абстрактные идеи жертвовать чужой жизнью и убивать... Есть пушечное мясо, есть головы-ведра для заливки лозунгов. И бомбы тоже есть. И самолёты.

Сан-Лоренцо. «Ночь падающих звёзд» — фильм был итальянский

И сыплются спелые крупные звёзды — как из ведра. И сосны шумят. Уходит очень личное — уходит моё детство, моя юность. И страсти, вражда, разговоры-разговоры — под слоем пепла — Помпея ли, шестидесятые... Мир сменил кожу, и ещё чей-то уход — звонок.

Лицо Гердта стоит перед глазами. “Тода как чемоданы оставим на вокзале. Пускай они хранятся, а нам храниться поздно”

Не знаю, задело ли бы меня, если б я в книжке прочла, без этого взгляда Гердта. Да и не до конца мне этот стих нравится. Последние две строфы — слегка напыщенные, автологические, совсем не нужны.

Не в этом дело.

20 лет назад, до того, как я стала жить с человеком, который старше меня больше, чем на 20, я ещё не знала, что нет возраста... Совсем не завидую чужой юности, ни крошки своей бы не обменяла на чужую. А если чему завидую, так это вечности впереди. Мне не хочется покупать вино, которое созреет через 10 лет.

За день до Камбалы умер, не дожив до 60, в одночасье, один мой давно потерянный знакомый — мы дружили, когда мне было 19, а ему на 5 больше. Колебались стрелки — роман-не роман, — не роман! Подползали по льду Невы втроем к полынье, в которую за-

кинули что-то плавучее — что? Не помню, забыл — экий я забывчивый слон Хоботовский.

Мелкие улитки неспешно ходят друг к другу в гости по мокрым камням.

Плаваем-плаваем. Вдоль берега — ставим рекорд каботажного плавания. Спорим, глядя на карту, сколько получается километров в один конец — три, или четыре, а может и все пять, если судить по тому, сколько времени по суше, по приморской тропе мы идём пешком до тех бухт, куда доплываем.

У кальмара бахрома свисает по периметру. Баклан под водой кажется огромным чудовищем, похожим по форме на черепаху — несколько секунд проходит, пока осознаёшь, что это всего-то птичка всплывает со дна, растопырив лапы. Осьминог прижимает к себе щупальцем пустую ракушку — посуду, оставшуюся от обеда.

Большие рыбы на глубине таинственные. Из итальянской сказки Кола-рыба. Глубина синяя густая небесная, перевёрнутая. На дно зимой свалилась сосна. И лежит, с ветки на ветку перелетают рыбы, тычутся в шишки, глядят лупоглазо.

Заколдованный населённый разноцветный мир — вода, зелень, дерево, камень, ветерок по голой спине...

Протяжённость минуты — тянется — растягивается — хоть в качанье улетающей надувающейся сосны в натянутом крепким синим боком небесном полушарии, хоть в качанье с рыбками возле скалы в пятидесяти метрах от другой скалы — той, что образует берег.

День всё-таки сменяется ночью, тоже не отдельной от тебя, как не отделён и день — когда задираешь голову, стоя под Млечным путём и Кассиопеей — а потом засыпаешь, глядя с кровати в проём двери — в небо.

Физическая сторона жизни — ощущение тела, движения, да просто взгляда — тут сильнее всего — вода в море — тёплая густая прозрачная солёная, вода из шланга — сияющая нагретая солнцем, солнце — горячее на коже, камни — синие зелёные серые — цикады, огромная жаба вчера на огонёк забрела. Ящерицы. И знакомая черепашка. Стволы, блики — да что перечислять — даже четыре часа поплавав без выхода на берег — не усталость — только покачивает слегка.

В городке Йер, совсем итальянском с виду — впрочем, поди отличи северную Италию от Прованса — жёлтые, рыжие, розовые фасады, арки, переулки, — на рынке торгуют крестьяне без посредников. Помидоры всех видов и мастей — большие, маленькие, кривые,

круглые, вишенки. Жёлтые, зелёные, чёрные. У продавцов нет калькуляторов, считают в столбик на бумажке, торговля неспешная.

В субботу в Йере на рынке, как всегда, аккордеон. То что-то из Брассанса, то из Монтана — соусом, высвечивающим вкус дня — с тенью, пальмами, жёлтыми стенами, бликами.

Мы пили кофе под зонтиком на узкой пешеходной улице, глядя на прохожих, на солнечные пятна, пытаюсь нахвататься пронизывающего света на год.

Уже которую ночь луна висит огромным фонарём, спать мешает. Гекконы охотятся, устроившись у фонаря поскромней, на каменной стенке. Как бабочка пролетит, так два языка выстреливают. И совершенно непонятная птица по ночам — она не ухает, не гукает, бьёт молотком по наковальне, равномерно.

Зачарованный мир, бесконечные дни, длящиеся минуту.

Впервые мне удалось пожать жёсткую шершавую осьминожьей лапу. Осьминог развалился на камне на небольшой глубине и не спешил уходить в щель, глядел вполне доброжелательно в отличие от чёрно-золотой мурены, открывшей навстечу мне пасть с рядами игольчатых зубов.

Я абсолютный эгсцентрик и солипсист — есть мой мир, тот, на который падает глаз, хоть случайно, и остальной — картонные декорации... Хрупкая граница. Сгоревшая пожарная машина на холме — памятник погибшим в ней 20 лет назад людям... Сирена скорой помощи на дороге в солнечный день.

Олеандры цветут. Вдоль дорог, в садах, на магазинных парковках. Вспыхивают на солнце ёлочными гирляндами.

Когда я не знала ещё, что тёплое море мне на радость на роду написано, я попала в Пицунду в 19 лет — после первых в жизни гор — сахарными вершинами с картинки, тяжеленным ненавистным рюкзаком, лилиями на склоне — во влажную духоту, к густой непрозрачной горячий — неживой воде — и в Гаграх oleандры на набережной не то чтоб примиряли, но радовали.

А потом были oleандры в Риме. Мы снимали комнату у студента-медика недалеко от университета на улице то ли Триеста, то ли ещё какого-то города. На сонной улице в жару притягивали тьмой и холодом двери баров — входы в пещеры за занавесочками из деревянных бусин. И сверкали ряды oleандров. Вечером все окрестные мужики собирались в кафе на углу и дулись в карты, не забывая с темнотой гнать домой с улицы домой соседских детей. Мы каждый

вечер пробовали какой-нибудь новый ликёр. Артишоковый, или попросту стрегу каттиву — злую колдунью.

С тех пор я не попадала в Рим летом, и каждый раз глядя в феврале или в мае на ряды не цветущих олеандров, вспоминаю — в Риме цвели олеандры, и столько было ещё впереди.

Но главный олеандр, вместилище олеандровой души попался мне лет десять назад — мы снимали первый этаж виллы, за огромным олеандром, росшим перед крыльцом, начиналась бамбуковая рощица. Олеандр вспыхивал на закате. И это был не огненный злобный куст, а сверкающая сущность ёлочного дерева — длинные тёплые волны, ветер в сосновых кронах и радостный сияющий куст.

Большая медведица лежала на боку почти над крышей, и лунный фонарь, слегка щербатый, светил в распахнутую дверь. Сегодня мне удалось подхватить две звезды, они падали друг за дружкой в проёме распахнутой двери, а за ними сиял во всю мощь Сириус.

Позавчера была гроза. Зарницы, гром, и хлынуло — на сад, на порог, на подушку. Утром дождь выключили и включили гугуток.

На йерском рынке лотки развернулись чуть позже обычного. Нас все там знают — если раз в неделю покупать по тонне помидоров, да ещё и у разных продавцов, так запомнят, а ежели ещё при этом громко верещать на непонятном языке, даже и лучше запомнят. Правда, один рыночный знакомец год назад опознал наш русский — когда-то он ездил в Ленинград и ходил в Эрмитаж. А у другого владельца помидорной плантации двоюродный брат долго был корреспондентом «Монда» в Москве, так что не скроешься.

Понурые машины с включёнными фарами шли нам навстречу сплошным потоком — разъезд, гардероб, шапки в руки, и городские квартиры на горизонте. Опять кончается лето.

Дождик шёл полдня, шуршал белосерый, пускал пузыри в лужах — предвестьем здешней мокрой густо-зелёной зимы. Круглые капли лежали свернувшись на листьях. Дорожка в роще выдыхала мокрую хвою, и сосны стояли с набухшими стволами. Вечером за успевшим подсохнуть столом под глициниевой крышей мы сидели в свитерах.

Конец лета — поворот, обрыв, раскрытая глотка будущего и замыкание пространства — стены, двери, смутный страх.

Но ещё не завтра, ещё качаются под ветром кусты, скользят над песком тени рыб, бегают солнце по ряби, и плывёшь, плывёшь...

Отъезд отсюда каждое лето — ну, такое изгнание из рая. Как там зимой наш сад, наша роща, наши белки — одна вчера носилась по со-

сне, взмахивая чёрным хвостом, — наши кабанчики... Наше море... Вчера ночью мы плавали, и дно светилось лунными бликами.

Мы бродили сегодня в черничниках и малинниках, среди рыжиков, которые надо было косить косой, да косы не было. Когда-то давно на северном Кавказе, в Домбае, мы целый день ели малину, тянулись за ней, встав на цыпочки, карабкались по глинистым склонам, и к вечеру видеть её не могли, лопались от обжорства, и один из нас клялся торжественно никогда ни за что больше не притрагиваться к этой мерзкой ягоде. Вот и сегодня — мы уже не карабкались, хватали только те ягоды, что свешивались прямо на тропинку, оставляли врагу переполненные кусты. А ещё и земляника. Катя, которая никогда не собирала ягод, сегодня не устояла, доказав своё родство с ведмедем — посмотрев на нас, она стала своей огромной пастью хватать малину с куста, конечно же, вместе с шипами и листьями, рискуя занозить язык. Один раз забралась в куст и не хотела выходить. Ну, а с ладони слизывала ягоды с хлопаньем и восторгом. И уже когда мы спускались вниз, поглядев, как я люблю, с луга вверх, на снежные сахарные горы, мы наткнулись на белые — «не до грибов, Петька» — но мы всё-таки набрали десятка полтора, хоть и торопились скорей домой — плюхнуться в прогретое до дна озеро.

Машка сказала — август, сердце жмёт. В сентябре будет легче, в сентябре закроется дверь.

Висят на ветках яблоки-предвестники — сжимают сердце — яблоки, листья пожелтеют, захлестнут винным запахом. Летят вороны вырезные по небу.

Вкус устриц — вкус моря, вкус солёных рыжиков — вкус леса.

По вечерам холодает, закат розовый с лиловым над озером. И завтра — в городскую квартиру, в четыре стены.

Год кончается не в Новый год, не в декабре. В сентябре начинаешь новый год, скользишь на саночках по ещё зелёной траве, и по утрам роса в лесу на паутине.

А в конце августа тёмные вечера, и сердце сжимается — плывёшь по озеру, глядя на окрестные горы — год прошёл, холодает по вечерам.

И опять — шмель зарывается в колокольчик цвета земляничного мороженого, бесхвостая ящерица пересекает каменную дорожку, помахивает ветками мимоза, и ссорятся сойки.

Танец лета складывается в танец лет.

Под опрокинутой над соснами медведицей Гришин силуэт на ночной крыше.

И ничего, живём, — в отличие от Кости Левина не боимся ходить с ружьём, чтоб не застрелиться, — впрочем, и ружей у нас нет.

«Это время тихой сапой...» — парят в серо-синем сосенные расрёпанные верхушки.

В соснах зелёный свет — прозрачный воздушный, в оливах — серебряный кинжальный, твёрдый плотный кожистый — в рододендронах — зелень прорезана рыжими кривыми стволами из Сезанна.

Совмещение души с телом — плавание — полёт. В гору идёшь, ползёшь, пыhtiшь, потом вознаграждение — терпенье и труд всё перетрут. А плыть в тёплой воде легко. Как и летать. Вот и летишь над подводными горными кряжами, машешь ластой толпе полосатых золотистых дорад, зависаешь над осьминогом, подныриваешь, и он перед тем, как удалиться, приветствует каким-нибудь седьмым щупальцем.

В многометровой синеве среди чёрных с раздвоенными хвостиками рыбьих стрижей, потом в расщелине, над самой подводной скалой, пытаюсь не лечь на мель.

Когда смотришь вверх, видишь, как качается граница двух сред. Заколдованное место.

Каждый год те же люди, те же собаки.

И половинка растянутого синего воздушного шара — куполом.

Не стекляшка, которую встряхнёшь, и снег идёт, — внутри шарика паруса, сосны.

Сойки вечно сварливо препираются.

Сосны машут гривами, и огорчаешься, что, значит, злой мистраль — дует с суши на море, сдувает тёплую воду с поверхности, «как с молока пену», а холодная поднимается из страшной глубины.

Запах горячей хвои, базилика, и тактильность жизни. Когда забираешься в горы, человеческого присутствия совсем не чувствуешь, а звериное-птичье-насекомое шуршит и стрекочет вокруг, кузнечики расправляют красные крылья и подлётывают, и видишь море, три в нём острова и длиннейшую песчаную косу полуострова Gien, как на выпуклой здешней карте на стенке в гостинной.

Нет, никогда я не понимала, как бессмертие может надоесть.

И так всю жизнь. То, что за летом — потом, в долгом ящике, отодвинуто в дальний шкаф.

И проснувшись утром, в солнечный день, поглядев на рыжеватые горы по ту сторону долины за окном, осознаёшь в который уже раз — лето кончилось. Рыжиками и сыроежками, краснеющим на

солнце черничником — всё, нет больше лета. Всё детство — ожидание каникул, бесконечные летние — однажды заканчиваются. И дует с автобусной остановки темнотой по вечерам и знанием, что нельзя, нельзя, совсем нельзя подгонять время. И все отложенные на послелета беспокойства и заботы выползают из углов.

Последний хвостик. Ледяная вода в озере на высоте в 2500 метров.

Засоленные рыжики на балконе в миске придавлены камнем.

Морской водичкой, иван-чаем, снежными вершинами, лиственницами, пробковыми дубами, тенями, горячими соснами, спелыми звёздами бренчит калейдоскоп.

Вечным страхом — всё кончается, всё кончается.

Когда кончается бессмертие, начинается клаустрофобия.

Выходить на берег, в сад, в воду, в Рим — пытаться наглядеться — на всю долгую зиму, темноту...

Ночью разверзлись хляби. Западный ветер стих ещё вечером, мы лениво ужинали, натянув свитера — осень, скоро осень, — гекконы охотились у своих ламп — один на балке надстольной глициниевой крыши, двое других на стене дома. Стреляли языками в летящих на свет мошек и оставляли без внимания ползающих по лапам муравьёв.

Я проснулась от шороха, осознала краем почти спящего сознания, что не сеет, не каплет, — льёт, и уже в 9 утра увидела совершенно мокрый сад, лужи, редкие хлопки по ним, серое клочковатое небо.

Прибежала Гришка, тряся мокрыми лапами.

Бормоталось «Уж небо осенью дышало».

К десяти разъяснилось. Земля пахнет, яростно, мощно, дышит, пробитая дождём насквозь, открывшая поры. Облака над морем — тяжёлые пышные. Парус.

Мокрая олива, мокрая мимоза. Гришка с Катей бежали по роще наперегонки.

Водопой существует до тех пор, пока звери ходят туда пить, крылечко, пока на него выходит посидеть старушка...

«Зелень лавра, доходящая до дрожи.

Дверь распахнутая, пыльное оконце,
стул покинутый, оставленное ложе.

Ткань, впитавшая полуденное солнце.

Понт шумит за черной изгородью пиний.
Чье-то судно с ветром борется у мыса.
На разошедшей скамейке — Старший Плиний.
Дрозд щебечет в шевелюре кипариса.».

Но это не пустой пейзаж без наблюдателя. Бродский тут как тут. Никогда я не понимала музейного существования вещей.

Дождь был прямой, как стрела, даже в машине сухо, несмотря на открытые окна, и нас не залило в кровати, хотя спим мы на пороге, так что если падает ночью подушка, она оказывается уже в саду. И в распахнутую дверь в сад, головой в сад, выплываешь прямо на кровати Выгребая руками, брассом — в беззвучное пространство, в спелое тепло.

Ночью, когда нажимаешь на выключатель, через секунду глаза привыкают к темноте, и звёзды в проёме двери над головой включаются. Так что звёзды зажигают поворотом совершенно обычного выключателя настольной лампы.

Бегемот правду сказал — год как жизнь, и вторая половина лета несётся, набирая скорость, соскальзывает в осень. И здесь в саду с распахнутыми дверями дома пространство размыкается длящихся днями, теплом на коже, солнцем на песке под водой, короткой преходящей вечностью

И шарик поворачивается очень тихо, но неотвратимо

Пожалуй, приходится признать, что счастье на свете есть. Методом исключения.

Оттенки зелёного — сосновые кроны, припыленные пробковые дубы, чьи-то узкие ланцетные листья. Ещё неделя — и людей совсем не останется. Звери, рыбы. Бабочки, ящерицы. Гигантский жучище в спальне. А мне остались две ночи, чтоб смотреть на звёзды прямо с подушки, не поворачивая головы, и ходить по лестнице на плоскую крышу искать большую медведицу, которую заслоняет лес. А там — до будущего августа.

Уезжать трудно — каждый раз страшно — подстерегает всегдашний а вдруг... — блестит серый дикий камень под солнцем, а внутри белые шершавые прохладные стены, и ветер по спине из сада, и в верхушках сосен — сегодня волны на море. И плаванье — одинокое дело — задумчивое — кажется, не так уж и хочу с аквалангом — эту тёплую воду хочется чувствовать телом, — и запах, и вкус, и соль. Взмахи золотых хвостов, пролёт попутайной рыбки, шум в ушах, шипенье, волны хлопаются о камни. Мы недавно плавали вдоль скального берега полуострова Жиен неподалёку от нас. Ехали

по песчаной косе, мимо солёных озёр, примыкающих к морю, и там фламинго — изогнутые, движутся, как в замедленном кино. Потом на конце косы вырастают дикие заросшие лесом скалы. Когда-то это был остров — как другие тут острова — лесные горы карабкаются из моря. Косу потом нанесло. Год назад мы ходили там по приморской тропе — и сверху я жадно глядела в море, предвкушая погружение. А сейчас — мы плыли вдоль берега два часа, потом два обратно, не выходя, — и кажется, скорость была такая же, как пешком по тропе, только — в этой тёплой воде движения были естественны, как взмахи хвоста — и заплывали в тёмно-зелёные гроты, и глядели в тёмно-сверкающую на просвет воду, и вверх на скальные морды, и вниз в синее бездонье.

Синее-зелёное-рыжее прошито золотом.

Небось, Даррелл теперь лежит котиком на отмели, как хотел, а Моузт получит в жёны чудесную добрую волчиху.

Я, конечно, до дельфина не дослужусь, но может, сделают меня в будущей жизни китом — буду задумчиво плавать по океану, пускать фонтан до небес и остерегаться русских и японцев, чтоб не попасть в консервы «жит с горохом», которые в шестидесятые продавали на углу Малого и Пятой линии в магазине «Детское питание».

В предзакатном свете течёт расплавленная красная дорога между пробковых дубов. Гаснет, только верхушки сосен на холме горят зелёным пламенем. Потом луна в чёрной сосновой прорези подхватывает — огромным фонарём, светящим ночью в раскрытую дверь — как каждый август.

Вчера был ветер, и над розовыми камнями мы проносились в клубящихся бурунах, — хлебнув воды в трубку, вертели высочившими на воздух головами, впериваясь взглядом в скальные нагромождения, заросшие нечёсаной зеленью, в которой не угадывалась береговая тропа. Так плывёшь час, два, — в неочеловеченном мире — в наложенном маской с трубкой одиночестве — только шум в ушах, да знание, что когда-нибудь повернёшь обратно и доплывёшь до челявника в пляжной полосе прибоя — в голубой воде над серебряным волнистым песком.

Прошло ещё одно лето.

СЕНТЯБРЬ



Вчера в тюлевых полупрозрачных сумерках я подходила к дому, окутанная дышащим живым теплом — такой была и моя первая парижская осень — тепло медлило, длилось дольше, чем свет. Двадцать четыре года назад в октябре в темноте я шла по вечернему Сен-Мишелю в футболке и думала — лёгкая тут осень — темно и тепло. Вот и сейчас — дни укорачиваются, как наступают приливы на Ламанше — со скоростью галопирующей лошади. Сначала незаметно, — и вдруг в 8 сумерки.

Но тепло — утешающе трогает за плечо.

Плыла вчера по текущему городу — раздвигала чужую жизнь — столики, жесты, встречи, и светящееся в бокалах пиво — восклицательными знаками.

Рыбками разноцветными за стенками аквариума — эти жесты, поцелуи.

А когда шла от автобуса к дому, услышала откуда-то с высоты звонкое, пронизывающее вечер курлыканье — подняла голову — над крышами летели две цапли — и радостно кричали — мы есть,

мы тут — мне захотелось побежать за ними к пруду, но я удержалась, погладила ярко-красную бегонию в большом горшке — она гладкая и упругая на ощупь — и зашла в подъезд — в свой вечер, в свою жизнь.

Когда едешь с юга на север, проезжаешь за день 900 километров, — не можешь уловить, где вдруг сменяется запах — горячие сосны, сухой камень, лаванда, и вдруг в приоткрытое окно — острый запах сена, глядишь — коровы тихо жуют на лугу, мелькающем быстро, слишком быстро, и острые белые скалы, вырывающиеся вверх из сосен, сменились округлыми зелёными волнами холмов. Смена декораций? Почему-то никто не работает над диваном-транслятором, и приходится возвращаться по автострадам — на юге ещё ничего, — даже этой мерзкой рычащей ленте не спрятаться от белых скал, сосен и виноградников. А потом к северу, — будто ползёшь по пластмассовой и бетонной стране, и даже деревья ненастоящие — вдруг чудом мелькнёт толстобашенный бургундский замок, напомнив, что съедешь с дороги, вдохнёшь запах какого-нибудь мокрого сада, увидишь зайца — жизнь. И ястребы на дорожных столбиках тоже напоминают, что жизнь есть. Круглота земли — «хочешь убедиться, что земля поката» — вот и катись к горизонту. А с временем разве не так? Вдруг оглядываешься и думаешь — сколько лет прошло — пять, десять, тридцать? Вдруг на улицеловишь краем глаза знакомый жест, походку, шевелюру — память — а того, кого не видел двадцать, тридцать лет, может, и не узнаешь. Вечно молодые лица утерянных.

И родительские лица молодые — мама, которая в бледную июньскую ночь в усть-нарвском лесу привязывала к папоротникам цветы розового шиповника, и закапывала монетки. Мама, которую мы ждали на автобусной остановке — и не раз в неделю, как было заведено, пока дачу снимали в Сестрорецке, а раз в две — дорого в Усть-Нарву ездить раз в неделю.

У нас не любили гладиолусов и георгинов. За пышность, наверно. Мама не любила.

А теперь хоть бабушкины лиловые астры, хоть розовые гладиолусы рядом на грядке — всё песок сквозь пальцы — двор-колодец, огромное кухонное окно — пространство между двумя стёклами вместо холодильника, туда аж арбуз помещался полосатый, спасённый из клетки, где арбузы жили в сентябре на углу 6 линии и Среднего. Дыханье перехватывает — нож, занесён над арбузом. И даже паук-крестовик в дачном сортире — он качается, он висит в углу, он

может упасть, когда писаешь, в самом беспомощном положении. А если упадёт, — верная смерть — просто умрёшь от ужаса. Даже крестовик подёрнулся патиной, стал не живой, а, может, брошка такая янтарная — паук-крестовик. И рассказы про прозалившихся в сортир — до всякого «Декамерона».

Интернет, мобильники, дачные умывальники — руками вверх стерженёк, и полилось на руки. И те, от кого остались дыры, зияющие дыры, они тоже были бессмертные?

Белый клевер на газоне, брусничные гроздья, тяжело поворачивается колесо — мельничное, штурвал, — закругляется под колёсами земля — и даже большая медведица поворачивается на небе, лапу сосёт. И букеты полевых цветов. Вчера, на Северном вокзале, когда я провожала Галку, прошла девочка с рюкзаком, — а из мешка у неё в руках торчал наш обычный детский веник — зонтики, розовые гвоздики-хлопушки...

Красная секундная стрелка бежит, радостно подпрыгивая, и неотвратимо ползёт чёрная часовая.

Юг — буйный яростный радостный прекрасный, захватывающий — его не жалеешь, а пригоршнями хватаешь, как воздух, когда вынырываешь на поверхность и отплёвываешься солёной водой.

А от тихого запаха сена, зонтиков и хлопушек щемит сердце. Небо — не синим воздушным шариком, а так, голубое, ленивыми подушками облака — трава — жалко себя, жалко каждой минуты, — бегущей, медлящей, уходящей бесследно, в песок...

«Всё прочее литература»...

А что не она?

Станный месяц сентябрь висит между летом и годом. Возвращаешься с лета — из дальних странствий, из другой жизни. К регулярному саду — к отложенным делам, про них только что, или сто лет назад говорил — займусь в послелетней жизни.

Щемящий месяц — в своей уютной такой любимой жизни говоришь — год прошёл — куда денешься — про белую обезьяну думать не надо — живём-бежим-качаемся в прозрачном шаре собственного существования — трогаем стенки — не, не лопнул, не выходит со свистом воздух.

Прохладные утра, над прудом — из автобусного окна — тонкий слой тумана, солнце, когда бежишь ему навстречу, — светит в нос и в глаз. Высохшие в августовскую жару листья подрагивают на тротуаре. И в кампусе под ногами орехи-фундук — идём завтракать и

зависаем над ними — собирать, вроде, лень, и зачем, но как не наклониться, не попытаться зубами прокусить хрусткую шкурку.

В лесу бурундук дорогу перебежал...

Наташа Хаткина когда-то мне сказала, что иногда она надеется, что у нас есть такое же бессмертие, как у травы и цветов, и бабочек.

Вечернее солнце лупит в окно, приходится опускать дырчатые решётки, и толстые солнечные зайцы, протиснувшись в дырки, бегают по полу.

На придворной ферме народ в поле — болтают на разных языках, один мы даже не опознали — итонационно похож на славянский, но ни одного слова не понять. Французская мама в малиннике оглядывает малолетнего сына с торжественным именем Валентин — сын, лет четырёх, измазался с ног до головы — и мама даёт ему добрый совет — «ты всё ж недостаточно грязен, ещё повалялся бы по земле».

А праздник урожая просится в средневековый календарь — полный ларь рыжих ослепительных тыкв, огурчики, затаившись, тихо лежат на земле, — поднимаешь плеть — зелёное на зелёном. От помидоров не оторваться — ну, спрашивается, зачем нам столько. И впридачу букет подсолнухов.

Помидоры на ферме — с грядки в мешок почти прыгают, глазом не моргнёшь — оказывается килограммов 25. А огурчики пупырчатые. Когда мы собирали помидоры, к нам обратился интеллигентного вида и голоса человек, наверно, лет 70 с мешком огурцов в руках, и сказал, что у него внук очень пупырчатые огурчики любит, раньше он привозил ему из России, а теперь вот на ферме отличные появились. Явно папа кого-то из здешних жителей. Потом мы, впрочем, видели его семейство, так что убедились, что папа незнакомых нам людей.

Огурцов мы тоже набрали килограммов 10 на засолку.

И яблоки, и тыква, и огромный кабак на жарку. А потом в ферменном магазинчике, где мы покупали творог, опять слышали русскую речь — и с изумлением увидели, что люди приобрели литров 10 арабского кефира. Зачем? Творог что ли делать?

Ещё у Тэффи есть — про любовь к творогу и долгим разговорам по телефону. Про долгие разговоры по телефону — не уверена, а творог и солёные огурцы — несомненно! Впрочем, малосольные лучше — бабушкино — малосольные, рассол от них со сметаной и укропом, и молодая картошка к этой радости, конечно. А потом дома

лёгкое раздражение — куда всё девать — где погреб, — ну, тыква с кабаком лежат на полу — рыжее с зелёным — и грибы почистила — под «Тысячу и одну ночь» в чтении Сурена Кочеряна, выставленную в жок Алдашиным. Завораживает. Это при моей-то нелюбви к восточной вязи. И на бумаге я этого читать не могу, запутываюсь в сюжете, теряю и нить, и интерес. Пару раз начинала и бросала. Восхитительная ирония только сейчас до меня дошла.

Едучи в субботу гулять к троглодитским белокаменным пещерам над речкой Сенной, к кизилу, но не собирать, упаси бог, а только есть — спелый кизил — тёмный, кислый, густой — мы с Галкой обсуждали вопрос о зимолюбах. Бывают ли истинные зимолюбы — не те, кто любит на лыжах в зимние каникулы кататься, а те, кому приятно в темноте и холоде по будильнику вставать и, напялив сто одежек, во тьме по снегу топать, скрипя и скользя, к ближайшему транспорту. А тут тёплый нежный сентябрь с примесью не вечности и паутиной... Жаркий день. На полу ведро собранного вчера кизила. Поехали в шортах, исцарапались в дым. Главная радость сбора кизила — далеко внизу Сена, разделившаяся на несколько рукавов, и в жару расплавленно сияет вода, иногда какой-нибудь кораблик чертит на ней след.

Страх — плата за то, чтоб вот так стоять, как сегодня, высоко над рекой, над Сенной, на меловом обрыве, где растёт кизил, а весной цветёт сирень. Внизу река на рукава разделилась, сверкает серебристым отливом, каменный тяжёлый замок где-то там далеко подомной подрагивает в мареве. А тут кизиловые ветки в ягодах, да дикая яблоня веткой в небо тычет, яблоко хрустит в зубах.

Конец каникул, как всегда всё вокруг Парижа перерыто — спешно заканчивают августовские починки, и автобус, вчера и позавчера понуро стоявший перед временным светофором, означавшим альтернативное движение, сказал мне — пешком через лес — и нечего по утрам так уж торопиться. Когда утром идёшь на работу через лес — по узкой тропинке в мокрой траве — и дорогу перебегают небольшой кролик, сверкая белым треугольным хвостиком, — это несомненно отличная примета!

Ну, а выскочивший из кустов спаниэль в репьях и глине — это и не примета вовсе, а данность — отпечаток носа на светло-жёлтых штанах — такой, как можно в собачий паспорт ставить вместо фотोगрафии.

Когда застываешь на минуту перед какой-нибудь случайно встреченной деревянной калиткой, — над ней нависают розы, или

зелёные незрелые ещё яблоки тянут ветки вниз, — о чём вспоминаешь — о Тони с его волшебной зелёной дверью, за которой я, кстати, совершенно забыла, что именно он нашёл?

Летнее дачное — не памятью событий — а готовностью к волшебству — дача и Новый год — открытые двери детской жизни. Я в ребёнке совсем не хочу, — очень много было страхов, зависимости, неуверенности, желания угодить — тяжела ребёнковая жизнь, как бы ни были любимы и прекрасны мама с папой.

Я никогда не понимала, зачем коллекционировать предметы — они для меня практически мертвы, даже те, что откуда-то приволокла сама же — вон лежит на полке хобот пробкового дуба — длинный полый кусок ствола — лежит-пылится. То ли дело — минуты коллекционировать — помнить и любить, и перебирать, бренча ими в самом главном кенгурином кармане.

Чем дальше, тем острее живёшь в старинном календаре — где на каждый месяц картинка — и сбор урожая, и голые поля. Всё сильнее сопричастность к этой единственной вечности — к смене времён года — ты глядишь на кусты и облака, а они на тебя.

Осенью в доме должно пахнуть яблоками. После школы — заваляешься на родительскую тахту с корзиной антоновки и штрифлинга, с читанным сто раз «Таинственным островом» — «как из камня сделать пар, знает доктор наш Гаспар», с «Большими надеждами» — в облаке яблочного духа. Корзина стоит за холодильником, яблоки с фермы — из огромного деревянного ларя — самой рвать с деревьев лень — подойдёшь, опустишь нос, вдохнёшь — вот она вечность — протянешь Кате хрусткий кусок. Кое-что всё ж собираешь — огурчики в засолку, помидоры, львиный зев, подсолнухи. Откручиваешь стебель — горький живой запах липнет к рукам. А в будочке, где взвешивают мешки, корзины, груды овощей, и даже цветы — и то на вес, стоит букет — в алюминиевом бидоне с вмятинами. Был у нас когда-то такой, ходили с ним к корове. В лес ходили — за черникой. Пальцы делались лиловыми, совсем тёмными, пока коряво извлекали плотные красно-зелёные листочки из ягод.

Не нужны мне стулья из сна Веры Палны, мне б бидончик...

Грибам суховато и жарковато, но подберёзовики-черноголовики на тонких крепких ногах всё же изредка вылезают к дорожке.

Недавно обсуждали мы за ужином, где же в нас сидит русская душа. И пришли в выводу (дело всё ж за ужином было), что она — в любви к малосольным огурчикам, кислой капусте и пирогам из живого дрожжевого теста — особенно с капустой, когда-то на углу

Первой линии и Среднего тётенька в грязном белом переднике такие пироги продавала.

Еще неделю назад мы плыли вдоль лесистого скального берега в гуще соснового разогретого запаха, к которому подмешаны тмин, майоран, чабрец, и подплывая к знакомому с берега, с тропы, мысу, я слышала, как и год назад на суше, оглушительных цикад. Кролик на поляне по дороге на работу мне про них напомнил, и я решила, что год начинается правильно.

Из сада напротив калитки в кампус свешиваются здоровенные зелёные яблоки.

От них совсем близко до тех, с розовыми боками, которые тётки у дороги предлагали где-то около Тригорского в когдатошней давней жизни.

Ну и ладно — пусть себе хрустят на зубах, сладкокислые.

Если бы спросить у кошки Гриши, где на свете самое лучшее место — она б ответила — сад на Средиземном море, роща за садом, а самого моря можно, в конце концов, и не давать.

Слишком оно большое и мокрое. Лучше уж в роще поточить когти о пробковые дубы, поохотиться на кузнечиков, поугадать соек и гугуток — впрочем, они Гриши не боятся — прямо перед носом у неё выступают, словно павы. В роще можно подождать, пока Катя с моря пойдёт домой — в нашем с Васькой сопровождении — выскочить из зарослей, потереться нос в нос, пройти у Кати под пузом, вздев хвост. Кстати, если встретятся чужие люди, или там собаки, тоже разумней всего нырнуть к Кате под тёплый мохнатый живот.

Если спросить Ваську, какое лучшее место на свете, он согласится с Гришей, и хоть он и любит сидеть на камне и глядеть в море — на лесистые скалы, паруса и горизонт, он тоже скажет, что море — мокрое — сад и роща — главней.

Когда настала пора уезжать, и я стала засовывать Гришу в котиный домик-клетку, она сражалась, как лев, пыталась так изогнуть голову, чтоб не пролезть, бурно не соглашалась.

Гриша теперь в городской квартире ложится спать у себя в котином домике — вероятно думает, что это диван-транслятор — поспит немножко и проснётся в саду под оливой.

Она ж кошка, откуда ей знать, что диванов-трансляторов не бывает...

И опять за холодильником возле окна стоит большая корзина с созревающими помидорами с фермы, а рядом ящик с яблоками, тоже оттуда, — подходишь к холодильнику — и в нос — настоянный

воздух — острый помидорный земляной и яблочный кисло-сладкий. Нюхала отрезанные ломти — наверно, у меня в яблочном настоенном воздухе спрятался тот угол души, что не южный — осенний рынок на углу Шестой линии — антоновка, штрифель и штрифлинг. И машину Бегемот сегодня поставил напротив яблони — большие розовобокие жизнерадостные яблоки, прицепленные к веткам, нагло лезли в глаза.

Атавистическая радость — идти по траве, и ноги делаются мокрые — от росы.

В восемь утра над травой тонкий туман поднимается. Над липами — белая незаметная луна. Я спускаюсь вниз по широченной поляне, потом сворачиваю на тропинку среди густых деревьев, ведущую к светлой каменной стене, за которой обсерваторский парк, но перед тем, как нырнуть в заросли, обязательно гляжу направо, вдоль по дороге, ведущей к пруду — там на поляну через каштановые кроны падают солнечные дорожки и образуют на земле — солнечную лужу.

Кроликов я встречаю не всегда, а вот собак, хоть парочку, — обязательно. Пытаюсь, как могу, защитить чистые «рабочие» штаны от приветливых морд.

Сегодня я обогнала женщину, которая тоже шла через лес вместо того, чтоб сесть в автобус. Только я по привычке торопилась, а она шла вальяжно, в туфлях, а не в тапочках, — и пела себе под нос.

В Рере, в нашем метро, уходящем за город, с длинными перегонами даже между городскими станциями, люди обживают пространство, если едут хоть десять минут — книжки, читалки, наушники, компы — кто работает, кто расслабляется, кто в окно глядит — угадать бы, о чём думает... Несколько остановок, — повисшее в воздухе время — между работой и домом, между одной жизнью и другой. Раньше, до мобильных, это было очень личное время, куда никому не проникнуть. Человек в транспорте, или на улице, человек в пути, человек по дороге, был защищён от всяких новостей, даже от новости о конце света, если таковой наступал, пока он ехал... Сейчас это время прошивается мелодиями мобильных — «ты где?» — «я в метро»... Конец света по дороге домой, к счастью, обычно не наступает.

Я очень люблю заглядывать в чужие книжки и читалки, смотреть, как кто-то с открытым компом уместается в ожидании поезда на крошечном каменном выступе, если скамейки заполнены — эдакая сопричастность этой чужой сосредоточенности на своём.

И ко мне заглядывают, — вчера вон поймала чей-то взгляд в экран телефона, пока я музыку искала, — интересно было кому-то узнать, что я слушаю.

Удивительна городская жизнь — трёмся друг о друга на тротуарах, сидим за уличными столиками, или за стеклянными вигринами — глазеем, на нас глазают, плывём, окружённые прозрачными коконами, иногда перемигнёмся со случайным прохожим через два слоя защитной плёнки, — делим пространство. Легче всех прорывают плёнки собаки и дети. Иду по улице, кто-то толкает в ногу — угу, чёрный нос зарылся под коленку. Сидели с Галкой за столиком у Нотр Дам, а за соседним — мама с маленькой девочкой говорили по-русски, явно здешние. Они нас тоже слышали, и когда мы уже собрались уходить, мама толкнула дочку в бок — ты же всё хотела сказать тётям «здраси», так пожалуйста, давай...

Сентябрь стоит невесомый. На прозрачных паутинах висят, покачиваясь, первые лимонные листья. По утрам прохладно, но ещё вполне можно ходить с голыми ногами.

Ну и сентябрь. Тот, что «сколачивает стаи, и первый лист дрожит у ног». У нас, впрочем, не сколачивает. Ещё лето у нас. Сегодня жарко совсем. И в лесу Рамбуе нашли немного грибов — подберёзовики да красный. Но рано ещё, сухо, несмотря на августовские дожди.

Цветы, бабочки. Недалеко от дома огородили кусочек газона, наверно, собрались что-то строить — а пока залетел в город нехоже-ный огрызок поля — трава нестриженная и нетоптаная — до пояса.

И прислонённое к стене выкинутое зеркало отражает совсем близкое небо.

В сентябре, когда я иду с работы — да, по любимой дороге — от Jussieu к Сен-Мишелю — город залит вечерним светом — он пронизывает листья на тополях, и городская речка Сена сверкает и переливается под чаячьими криками.

Вчера утром, в автобусе, договаривая с Вовой Минкиным начатый накануне разговор об изменениях с течением жизни разных точек зрения, сошлись на том, что одно заблуждение мы разделяли практически все — в семидесятые, да и в восьмидесятые, мы пребывали в светлой уверенности, что стоит кончиться советской власти, как в бывшем СССР настанет почти что божья благодать... Хотя вроде даже самое примитивное знание истории должно бы было нас от таких мыслей излечить. Интересно, был ли хоть кто-нибудь, кто этого общего заблуждения избежал...

Иногда вдруг задумываешься о самых простых вещах и изумляешься. В современном обществе структурированы самые разные виды человеческой деятельности. Даже наука.

Способного ребёнка с большой вероятностью отдадут сначала в кружок. Потом на него обратят внимание в школе, он пойдёт учиться дальше, в конце концов защитит диссертацию, возможно, получит профессорское место. Так или иначе, он присоединится к существующим формам научных занятий, у него будет какая-то поддержка и коллеги.

А Пифагор, Архимед... Это так удивительно, что в мире, в котором ещё так мало знали, в котором не было адекватного математического языка, они придумали своё — «пифагоровы штаны на все стороны равны», «по закону Архимеда после сытного обеда полагается поспать»...

Они размышляли — в одиночку, просто так, — у них был такой способ существования.

Или Ньютон — ему на голову яблоко с ветки упало, а он придумал математический аппарат, чтоб про это рассказать

Желание понять — такое природное, такое человеческое. Столь же естественное, как желание написать «Войну и мир» — скрипучим пером по бумаге — полторы тыщи страниц... Или маслом — сто вариантов кувшинок на пруду.

Вначале было не слово — картинка.

Огромные быки в пещере Ласко 17 тысяч лет назад. Красноватые дышащие лошади.

Первые слова — они на камне — вечные, выбитые, неизменные.

Очень долго жили слова на бумаге — красивые рисованные, потом печатные, в множестве экземпляров. Рукописи с пометками на полях, черновики, вымаранные слова. Приписанные сверху, изменённые.

А теперь слова стали жить в компьютерах, бегать без проводов, копироваться бесщётно.

И исчезают черновики, радостно стираются, файлы уходят в мусорные корзины. И стали слова уязвимей — не розетский камень Шампольона — каждый может отловить это трепещущее слово и делать с ним, что хочет. А иногда автор вдруг глядит на прошлогоднее-прошлоековое, — и находит другое, и меняет текст — но во всех ли файлах?

У картин жизнь устойчивей, надёжней, материальней.

А слова — бегают солнечными зайчиками...

Лионель, по утрам пробегающий километра 3 по городу, — чтоб в метро ехать без пересадок — мне позавидовал — ни птиц, ни запахов на его пути — я возмутилась — в Париже по утрам — запахи хлеба и кофе. И мы согласились, что ещё одна утренняя радость — выпить кофе с круасаном в кафе за стойкой среди незнакомых людей, в облаке кофейного запаха, и даже запах свежих газет, их шелестенье — ложится особой приятностью, — Сезанном, запахом трубочного табака, началом двадцатого века.

Глядеть на чужих людей, на чьи-то следы — одинокие ещё не убранные пустые чашки на столиках... Зачарованный, на секунду остановленный мир...

Не помню кто, из не самых умных, может, Ростропович, а может, какой-то другой музыкант говорил сто лет назад, что в России (тогдашней) музыка была — хлеб, а на Западе — десерт.

Вот и задумаешься — этот дождь, пузыри по лужам — десерт, или всё-таки хлеб?

Поставила тихонько Армстронга и работаю себе — the moon stands still on Blueberry Hill — что ж, и мы причастны, — кто б без нас всему дал названия — да такие, что на языке перекатываются — Blueberry Hill...

Вдруг боковым зрением почувствовала какое-то движение на столе слева от клавиатуры — скосила глаз — по краю кофейной чашки по кругу шла божья коровка. Минуту я думала, не та ли это злая ведьма из сказки Фаллады, которую в образе божьей коровки проглотила принцесса и тяжело заболела. Нет, не та — просто один из моих любимых насекомых зверей — пятнистая радостная тварь. Пока я глядела на неё, она расправила крылья и улетела — что ж — lady bug, fly away, божья коровка, улети на небо, там твои детки кушают котлетки. И что ей делать у меня в офисе?

Я благодарна заоконному тополю — он часто посылает мне листья, которые тихо планируют на клавиатуру, а сегодня вот и зверушку с небесных пастбищ прислал.

Галка со Славкой привезли из Канады занавеску для ванны. Эта занавеска — она со сценами из африканской жизни — игрушечной жизни — растут пальмы с толстыми стволами; синие слоны с большими ушами и не очень длинными хоботами идут, помахивая хвостами с кисточками; лев с гривой, как воротник на какой-нибудь старой картине, и нос у него длиннющий, — смотрит с редкой благожелательностью; улыбается во весь рот крокодил, привстав на

четыре коротких лапы; зебра слегка высунула язык, а пятнистый гепардёнок всем своим видом выдаёт свою младенческую суть. Жирафы, обезьяны с большими ушами по бокам круглых лиц... Приветливый успокоительный мир. Я по вечерам подолгу стою под душем — это мой способ ежедневного отдыха — мелкие радости всегда в запасе — задумчивый горячий душ вечером, чашка кофе утром. Глядя на этих ласковых зверей, я всё пытаюсь сообразить, кто первым начал рисовать таких вот игрушечных знаковых чудищ. Как отличить кошку от собаки? А как мы узнаём льва в этом жёлтом длинноносом существе с огромным испанским смятым воротником? У меня в Ленинграде был пластмассовый лев, похожий на этого на занавеске — лев сионистский — так мы его звали за особую длину носа.

Откуда мы берём эту способность к абстракции? Бедные простодушные звери Катя и Гриша, они-то не умеют увидеть зебру и льва на занавеске. А под ногами возле ванны оленя и броненосца на коврике. Правда, собака Ньюша на площади Вогезов у входа в антикварный магазин лаяла с ужасом на очень страшного гипсового раскрашенного негритёнка.

Первым, наверно, был Киплинг. Без него не знали бы мы, что у слонов были когда-то носы-башмаки, а у верблюдов когда-то не было горбов. Он написал даже рассказ про паровозик, маленький трудолюбивый паровозик — у паровозика и имени-то не было, только номер. Он честно пыхтел и очень хотел быть полезным.

Киплинг — наш с Васькой камень вечного преткновения. Я мало какие киплинговские стихи люблю и не люблю почти никаких его стихов по-русски, переводы практически все мне не нравятся. Вот только «Пыль» у Оношкович-Яцыны, да стихи перед сказками у Маршака — «увиджу ли Бразилию до старости моей».

В маленькой жёлтой книжке сказок по-русски, — сами сказки перевёл Чуковский, а стихи к ним Маршак — я в детстве всё исчиркала, пытаюсь раскрашивать картинки — да, да — слонёнок с носом-башмаком, питон — скалистый змей... Кстати, когда слонёнок, получивший хобот, шёл обратно, он подбирал банановые шкурки, которые разбросал по дороге к крокодилу, и выкидывал их в урны — откуда бы они там взялись, урны.

Сто лет назад в давнем щенячестве я пересказывала сказку про слонёнка двум американцам — американцы, как оказалось, не знают, откуда у слона хобот. Мы плыли на корабле из Ирландию в Англию втроём — две девочки и мальчик (две тётеньки и дяденька).

Вдвоём мы с Лорой были влюблены в одного Джейка (Лора должна была выйти за него замуж, а я отнимала...), и история про слонёнка помогла нам в тот момент избежать безобразных сцен и слёз. Про слонёнка, потом про кита, про верблюда, про броненосца.

Я убеждена, что главное у Киплинга — не стихи, не романы, не Маугли, а Just so stories — те самые сказки.

Эти звери с занавески в ванной, пока я стою под душем, окутывают меня тёплым духом, пытаюсь убедить, что жизнь не опасна, что «в лесах» только «игрушечные волки глазами страшными глядят»...

Эта постоянная смена декораций, эти деревья-свидетели. Кидаешь камушки в воду, они с тихим плеском укладываются на дно, над ними плывут тихие рыбы. А может, бредёшь по берегу реки, ведёшь рукой по краю высокой травы.

Идёшь, раздвигаешь время руками. Тыквы, виноград, фундук. Маленькая девочка на качелях в саду — и огромный как лопух зелёный лист катальпы бесшумно спланировал на рыжую мохнатую клумбу.

Ещё не осень, медлящее шаркающее в дверях лето, ещё в пятницу мы радостно плавали в открытом бассейне на лужайке, папоротник ещё зелёный, и на берёзах жёлтое только редкими струями — сверху вниз в зелёном.

В лесу Рамбуйе крепкие радостные подберёзовики-черноголовики, мы брали только шляпки, белых пригоршня, чёрные грузди да волнушки.

Пока мы сидели на полянке возле пруда, прицокали две лошадки, и одну лошадку её девочка уговорила замочить копыта. Лошадка сначала попила, погружая в воду полморды и громко фыркая, потом подышала на стрекозу, скрипящую крыльями перед самым её носом, потом проскакала по воде, поднимая тучу брызг. Девочка очень ласково уговаривала лошадку зайти в воду, правда, сначала осведомившись у меня, не глубоко ли. Я сказала, что купалась у нас только собака, и тогда она предложила своей лошадке расспросить Катю. Видимо, Катя лошадку и уговорила, что побегать по воде стоит.

Когда лошади ушли, слегка потряхивая землю, они, видимо, разбудили виденную нами до того на дорожке спящую не то змею, не то безногую ящерицу, которая не обратила на нас ни малейшего внимания. На обратном пути её не было.

А как в лесу Рамбуйе ночью? Жуют траву на опушке косматые рыжие коровы, если звёзды падают, они их поддевают на длинные

рога, кабаны, небось похрюкивают, а днём только мышка-норушка и показалась нам.

Вот и вся суббота — раз и нету, — лениво думаю, отвечать ли на студенческие мэйлы с мелкими вопросами или в два часа ночи закругляться, примирившись с тем, что кончился день, и пересчитывая в голове дела на завтра — грибы посолить, мэйлы написать, Катю расчесать, Гришу помучить, да мало ли дел-то — вот с *tarzanissimo* поработать — у нас договорённость — час в день по будням, у меня уже задолженность за эту неделю — 2 часа. И тики-таки-тик-так, так-так, сентябрь уже за половиной — «Незабвенный сентябрь осыпается в Спасском»...

Под неизбежное бормотанье «Лист смородины груб и матерчат» я в очередной раз подумала об атавизме — страсти к заготовкам — кислая капуста, солёные огурцы, кизиловое варенье, грибы солёные, грибы маринованные.

Ну, ведь не ключницы же мы Пелагеи — и погребов в доме нету — и почти всё можно купить в магазине, а чего не купишь, без того и проживёшь без особых сожалений. И вспомнила своего мимолётного знакомого аспиранта, саудовского араба, который во Флориде созвал в гости пёструю аспирантскую и постдоковскую толпу, и кормил нас рисом — самое важное — есть рис надо было руками — только так можно было приобщиться к духу еды. Мне кажется, что варенья и соленья оттуда же. Едят руками из уважения к еде, чтоб почувствовать её живой дух. Так и соленья. Из лесу мы принесли дубовые листья, вишнёвые листья, погрузили их в рассол. Ещё и укроп, и чеснок. Прикасаешься руками, перетираешь. Снимаешь розовую варенную пену. Грибы на сковородке выпариваются, подхватываешь их лопаткой, чтоб не пристали. Запахи мешаются. Вот и у еды появляется смысл и тайна, она становится живой. В магазине со склада не купишь.

И опять чашка кофе на круглом уличном столике кафе, опять запах круассанов из булочной, и холодные ночи, и тёплые ранние вечера, и яблоки, застывшие на ветках, и розы. И в туфли попадают мелкие камушки. И показываешь себе кино по дороге на работу — собственное, лучше которого нет. Зачем примерять чужую жизнь, свою бы прожить ещё раз — нет, не менять ничего, зачем, просто опять и опять останавливать мгновенья, просто прокручивать туда-обратно, просто не умирать.

Мне очень хорошо на работе — и с людьми на работе.

Проводишь в офисе всё ж полжизни — помню, как я себя чувствовала, когда работала инженером в фирме — эдакая лёгкая неловкость, как когда ботинки жмут, меня не покидала — ходишь с людьми на ланч и не вполне понимаешь, о чём разговаривать — все какие-то чужие. Да и сама работа была — вроде, и не глупая, писала вполне занятные программы по управлению производством, — но приходила в офис — не к себе домой, и не чувствовала себя уверенно. А потом в кризис 91-го фирма закрылась (никак не могла я тогда знать, что удача бывает и такой!), и после года безуспешных поисков работы в промышленности (для информатиков во Франции тот кризис был куда злей последнего) я вернулась в университет.

Впрочем, началось с того, что я подобрала в магазине «Шекспир» газетку с объявлением — дурацкая американская бизнес школа в Париже искала преподавателей математики и информатики по-английски. Я им позвонила, получила несколько часов преподавания в неделю и вспомнила, что можно вообще-то вернуться в университет — получить чисто французский преддиссертационный диплом DEA, поактивней поискать почасовку, потом диссертацию написать. Всё сложилось — DEA я получила, почасовки постепенно стало больше, чем я могла взять, если не стоять одновременно у доски в сильно географически удалённых друг от другачточках Парижа. А диссертацию я так и не написала — почасовка в EFREI переросла в постоянное место. Ну, работать на полной ставке, писать диссертацию и работать с *tarzanissimo* было уже вовсе нереально, хотя моя научная руководительница этого понять не могла, объясняя мне, что пока она не закончила диссер, она не имела обыкновения прерываться даже на день — ну, разве что в Рождество. Впрочем, это отдельная песня. Моя научная руководительница живёт в двух шагах от университета Paris 6, ходит в офис пешком, проводит там весь день. Предлагала мне встречаться в универе, или у неё дома после восьми вечера, — при этом она часто начинает трудовой день чуть ли не в 8 утра. Муж её тоже математик, тоже в Jussieu — и жизнь их, по-моему, очень счастливая, заполнена учёными занятиями. Однажды я видела, как в доинтернетные времена они собирались в отпуск — в унаследованный от родителей домик под Ниццей, где они летом проводят всё свободное от конференций время, — вместе с собачкой, которая на конференции тоже ездит, благо в корзинке помещается. Поскольку время стояло доинтернетное, главное было — не забыть взять с собой в Ниццу примерно багажник математических книг и статей, которые вдруг да понадобятся. Короче, Ирэн

так и не поняла, как я могла бросить диссертацию из-за отсутствия времени...

Мне в жизни много раз совершенно незаслуженно везло. Вот моя работа — одно из таких чудесных везений. А если учесть, что я, кажется, единственная у нас без диссера, так и вообще получается, что волшебное везение. И последним везением был приход Лионеля. Вокруг полно людей, с которыми мне очень приятно ланчевать, ходить в бассейн, пить кофе, болтать о том, о сём, и много о работе. Есть Николая, с которым мы дружим, знаем друг о друге очень личное. Но Лионель — ещё более свой, совсем свой — с людьми не из России всё же это ощущение полной свойскости возникает по понятным причинам относительно редко — другие детство и юность сказываются. Лионель — одержимый математик, при этом весьма независимый — работает сам, иногда и без соавторов, и из тех, кто много считает на компьютере, запуская свои подсчёты ночами, чтоб к утру сосчиталось. Ему 35, но его у нас несколько человек уже приняли за студента.

До нынешней американской жены у него была румынская подруга, — на этом он выучил румынский и приобрёл интерес к восточной Европе. Объехал земной шар, пользуясь только поездами и кораблями, и соответственно, его тоже занесло на так любимый разнообразными иностранцами транссибирский экспресс, где на него произвели впечатление милиционеры, всю дорогу игравшие в карты, и provodnitzA, с которой он пил чай.

Бабушка у Лионеля — итальянка. Есть такой отличный писатель Франсуа Кавана, который происходит из предвоенного нищего итальянского парижского пригорода, и написал несколько жизнерадостных автобиографических книг на языке, который, конечно, в основе французский, но с такими занимательными италожаргонными вкраплениями. Лионель утверждает, что его бабушка пришла прямо из этих романов — слово в слово. Прадед, от нищеты уехавший во Францию, как всякий приличный итальянец, был каменщиком, правда, в отличие от отца Каваны, читать всё-таки умел. Кавана-старший читать не умел, и когда услышал от сына, что земля вертится, крайне обиделся, решив, что сын над ним издевается, но зато у него из самой заштатной персиковой косточки вырастал и плодоносил персик — он раскидывал косточки у домов, которые строил. А бабушка Лионеля была учительницей начальной школы в деревне — образования у неё толком не было, но в деревне нужны

были учителя. И вышла замуж она тоже за учителя начальных классов — француза.

А ещё, что особенно приятно, Лионель ухитряется очень много всякого разного читать, так что, похоже, что у меня, вдобавок к *i_shmael*, появился ещё один человек, от которого я смогу узнавать про книжки...

В очередной раз — повезло!

Заоконный тополь топорщится веником, время от времени взмахивает лапами, как человек, бегущий за автобусом, потом затихает. Многолапое, — одна лапа жёлтая, одна голая, остальные держатся пока. И толстые крупные капли валятся, редкие, не попадая на стекло — дождь-не дождь, сито-решето. Вчера луна громадная вставала над крышами. Утренние узорные облака обратились в серую кисею.

Мама любила говорить, выходя в серый дождь — «погода шепчет»

Осень, всё-таки осень — переворачиваешь огромный лист календаря, чистый — медленно пишешь, буквы выводя, — осень, всё-таки осень...

Просвечены насквозь церковные витражи. И герань на клумбе — просвеченная насквозь — аленький цветочек. Одуванчики на газоне приветом из мая.

ОКТАБРЬ



Кончился сентябрь, и тянется это огородное тепло — с запахом ботвы, жёсткой глиной, рыжими помидорами на грядках и жизне-радостными тыквами в огромных ящиках, сколоченных из досок.

Не ливень, а тихой запечной мышью шуршит мелкий дождь, — ёлочными каплями на ветровом стекле, светящимися дрожащими окнами в лужах под ногами. И мелкие жёлтые листья акации на-несло на машины с огромного дерева, как в июне несёт с него белые цветы. А в узком пешеходном переулке между каменных стен, где застенные деревья вылезли наружу и сплелись кронами в крышу — в переулке, через который мы, оставив машину, проходим к Синяв-скому дому, пророс глицинией жёлтый старомодный фонарь — она забралась внутрь, разлапилась, и лежат листья теньями на стекле — китайским фонариком столетней давности.

Деревья желтеют — тикают часы.

По утрам кусты выходят навстречу из тумана. Знакомишься с ними заново, как мальчик из «Амаркорда» с длиннорогой коровой.

Расцвела, потерявшая счёт дням глициния.

Сидя за столиком на площади у Сорбонны со стаканом белого пива, — сонно вспоминала, какие и с кем тут вела разговоры. Соб-

ственные следы сплетаются с чужими — серый асфальт под ногами, пластиковые столешницы, фонтан — тени лиц, отзвуки слов...

Когда мы с Катей идём по улице, к нам часто обращаются незнакомцы.

Отважные мирные дети кидаются Кате на шею, а воинственные (в основном, мальчишки, девочки ведь редко воинственны) со страшным криком победителей насканивают на неё из-за угла.

Никто б не удивился, если б Катя заговорила. Я совершенно не понимаю, что её останавливает. А уж насколько ей жилось бы интересней, если б она книжки читала.

Дети робкие — глядят на неё во все глаза — такая большая, такая шерстяная, — потом еле-еле трогают тёплую спину ладошкой, под родительские улыбки — погладь «собачку».

Катю чаще всего зовут плюшевым медведем, — без почтения.

А на прошлой неделе мы встретили старика, он медленно шёл нам навстречу с небольшой кошёлкой, из которой торчал багет. Старик остановился, посмотрел очень ласково и спросил — это кто, собака, или барашек?

— Барашек, конечно же, барашек, — подхватила я. Тот самый, которого надо было нарисовать.

Дети ничего не знают про будущее... Старикам и собакам не хочется загадывать на 15 лет вперёд... Здесь и сейчас... У стариков и детей всегда находится время для собак...

А кошка Гриша часами сидит на седле нашего комнатного велосипеда и глядит за окно. Там чайки проносятся мимо стёкол, время от времени встряхивается тополь, скидывая листья — они дрейфуют шлейфом и парашютиками падают на газон. Я думаю, что Гриша смотрит в лето — из комнатных четырёх стен — в сад, где сойки и ящерицы, и сучковатая олива.

Что ж — кошки ничего не знают про короткость жизни, им, как детям — только каникул и ждать, а нам-то, нам чего делать, ощущая физически этот песок, утекающий из-под пальцев?

Осень остановилась — тёплая покачивается — листья под ногами, листья над головой. А они ещё и в воздухе — почти неслышные.

Прикосновение к чужой жизни — уличные столики, обрывки фраз, стиснутые руки, танцующие над бокалом пива руки, рука касается руки. На улице тёплым вечером — сияют жидкости в бокалах и стаканах — красная, белая, почти прозрачная, жёлтая. Над руками — улыбки, вздёрнутые брови, вытянутые губы, мимика. А на углу

огромной ведущей к Триумфальной Арке улицы — rue de la Grande Arrière — сидела клошарка со всем своим клошарским имуществом, уложенным в колясочку, сидела на аккуратном тючке и с бешеной скоростью печатала что-то на портативной пишущей машинке.

Роман пишет? Жалобу на жизнь? Вряд ли. Вид у неё был вполне удовлетворённый.

А машинка, машинка-то — музейный экспонат!

Дед Лионеля, муж его итальянской бабушки, с которым она довольно рано развелась, одно время прожил клошаром. И дед, и бабка, были учителями в начальной школе. Но дед, видимо, не справился с оравой обормотов, которые на уроках ходили по потолку, и был отправлен на раннюю пенсию. Он поселился в «пенсионном доме» для одиноких неприкаянных учителей-пенсионеров — в Бургундии, среди лесов и полей. И из тихого дома он ушёл в клошары — набираться жизненного опыта. Он писал рассказы и считал, что клошарский опыт ему пригодится. Стихи тоже писал. Пожив некоторое время на улице, дед вернулся в «пенсионный дом». А на летние каникулы приезжал к бабушке, чтоб общаться с дочкой и с внуками. Мама Лионеля его нежно любила. Он был весёлый, знал кучу историй, очень любил детям что-нибудь покупать. Денег у него практически не было, к концу лета он растрачивал всё на подарочную ерунду, и бабушка покупала ему билет обратно в Бургундию.

То ли ключ в замке повернулся, то ли занавес опустили и подняли — следующее действие — осень. Без предупреждения.

Вечером напротив Нотр-Дам, в моём любимом кафе на левом берегу возле Шекспира, украшенного нынче цветными лампочками — эти ёлочные фонарики итальянских ресторанчиков — когдатопний источник радости, — потом слегка притупилось, а сейчас у Шекспира нахлынуло снова — рояль — «les feuilles mortes» в медленно наползающих сумерках, подвижные лица людей за столиками, — карусель цветных лампочек под сентиментальную музыку.

Острота ощущения жизни — врезающиеся детали — вчера парижская темнеющая улица, окутывающее тепло, сухие платановые листья скатываются, подпрыгивая, вниз по лестнице, спускаясь в метро. Сегодня — утренняя пробежка через лес, на позднем осеннем рассвете... Вороны с верхушек лип, а из кустов чье-то цоканье, чей-то свист — и почему только я почти никого не узнаю по голосу. Ручей на поляне утром громче, чем днём.

По дороге я глядела под ноги на липовые листья и бормотала: «на освещённой мостовой кружочки липы золотые вниз стороной»

лицевой лежат, как будто неживые. И запоздалый грузовик, как лёгкий ангел, без усилия, по лужам мчится напрямик, подняв серебряные крылья». Как бормочу уже сто лет — осенью под липами. А потом день поскакал мячиком — лекция, встреча, болтовня, задачка, болтовня — и вкатился в ранний вечер, в начинающиеся сумерки — из окна тянет листьями, яркие яблоки на деревьях засияют вот-вот фонарями.

Так и вырастаешь в пейзаж — тихо едешь по дорожке, сквозь строй золочёных тополей, — ныряешь в смыкающийся, сыплющий кленовые листья лес, на зелёном поле лошади в пополах, мохнатые коровы жуют холодную траву — почему-то не поддевая на острые тонкие рога шашлык из опавших листьев, как нисколько не стараясь, поддел на палку Васька. А потом деревня, и протыкает бледнеющее в сумерках небо готический шпиль.

В Альпах зимой на закате, — в долине деревенские огни, а колокольня ещё подсвечена.

Строго говоря, я не люблю высоких гор. Мне там красиво, но нет ощущения слитности, физического счастья, возникающих в море. Не дают они мне и принадлежности к пейзажу, которую я очень остро чувствую в Бретани. Высокие горы — там я в гостях. Мне хорошо пониже, — там, где лес, луга, не ледяные озёра, коровы с колокольчиками, а на снег и лёд смотришь снизу вверх — там мне куда родней.

А под Парижем полыхает на каменной стене дикий виноград, и петушок, попавший на крышу, светится в небесной размытости.

А вчера всё то же сине-лиловое небо, но ветер подул, и пляшущие на асфальте сухие листья — грохотали жестью, и хоть с кораблика, на котором мы с *albir* и *tarzanissimo* покатались по Сене, всё равно осень, осень, осень.

Когда я только начинала жить в Париже, мы как-то в солнечное воскресенье гуляли в саду Пале-Рояля — по дорожкам мимо фонтанов и жёлто-красных клумб, и люди на скамейках улыбались, стоило только поймать взгляд — мне тогда показалось, что воскресный Париж — залог того, что всё образуется, что жизнь прочна, что всё будет хорошо.

Вчера, когда я глядела на берег с кораблика, я опять остро ощутила по Борхесу, по «Тлёну,» эту обусловленность не хаоса — есть река, раз есть кому загорать у воды, и скамейки есть, на которые падают листья, — есть кому на них сидеть, и сидеть за столиками, над которыми уже зажгли на длинных палках газовые горелки. Дул

ветер в нос, я пыталась запахнуть совсем тонкую летнюю куртку, ведь позавчера было жарко. А сегодня ещё ледяной ветер, или просто утром холодней — и до весны ещё зима — и чур меня, чур — только не подгонять время!

И вдруг, отойдя от себя в сторону, остро ощущаешь — надо же — вот осень, вот дрожащие деревья, мокрая глина, потом до весны доживём — вот он, мир без нас, — пускают поглядеть в окошко, ненадолго — холодные яблоки хрустят на зубах.

Я со сжимающимся горлом читаю последнюю книжку Лосева — «Меандр» — незаконченную автобиографию, рассказанную самому себе. В толстом томе ещё и обрывочные рассказы о Бродском — в отличие от лосевской книжки в ЖЗЛ, написанные без внутреннего цензора. И всё равно удивительно тактично!

Всем вокруг последнюю неделю я пересказываю лосевские истории...

Я с ним так часто не согласна, язык чешется поспорить, и не с кем... А книга совсем родственная...

«Самое удивительное и прекрасное, что я видел в жизни? С Юзом мы ходили по Венеции в полдень в поисках места, где бы поуютнее присесть. У нас был хлеб, сыр, маслины, мортаделла и бутылка вина. Но где скамейка была занята, а где безлюдно, но собака кучу навалила. Наконец мы набрали на совершенно свободный и чистый тупичок у перекрёстка двух узких каналов. Мы присели на уходящие к воде ступеньки и вот что увидели. На перилах горбатого мостика перед нами сидела, глядя в воду, серая кошка. Неожиданно она выгнула спину, повторяя изгиб моста, на котором сидела, а затем сиганула вниз, уже в воздухе вытянувшись в линию. Почти бесшумно ушла под воду. Довольно долго на поверхности воды ничего не было, а потом появилась прилизанная кошачья голова — она быстро продвигалась к берегу. В момент полёта кошки у меня в горле образовался ком и я не без труда проглотил его вместе с большими глотками сладковатого вина «Лакрима Кристи»...

И еще вот... Я не могла себе представить, что в кино слушать 6 часов подряд одного человека может быть так увлекательно. Правда, мы всё-таки смотрели этот фильм недели две, понемногу, но будь моя воля, я б села в кресло в воскресенье утром и смотрела бы до вечера, плюнув на прогулки и дела. На экране почти всё время Лилиана Лунгина — сидит в кресле у себя дома и рассказывает. Почти по книжке про Алёшу Почемучку — «Что я видел». Что видела, что думала, с кем дружила, где была. Как же она невероятно хороша, и

какая она — счастливая. Счастье — это не удача, не везенье и не что-то такое, что можно заработать хорошим поведением, это неотъемлемое свойство личности. Смотришь этот фильм и локти кушаешь — скольких людей не успела расспросить — родителей, Нату, — длинный список ушедших и ещё более длинный — неотвеченных вопросов. Лет 15 назад Андрей Дмитриевич Михайлов горестно говорил, что не успел расспросить родителей и взывал — не забудьте. И я кивала и соглашалась, — и всё равно забывала. Знаешь урывками, отдельными рассказанными когда-то историями. И у Лили Лунгиной тоже — там, где о детстве, столько возникает вопросов и про отца, и про мать, — и понятно, что и она не расспросила — рассказывает то, что помнит сама, и самые разные вещи оказались за кадром, — то, о чём и не могла знать 10-летняя девочка.

Да, конечно, не со всяким человеком захочется провести 6 часов, но людей, которых будешь слушать, развесив уши, совсем не так мало. Я уверена, что знала таких, о которых получились бы замечательные фильмы, найдись умный режиссёр.

Олег Дорман — мудрый режиссёр, с ним, видимо, хотелось разговаривать — и правильно, что он не гнался за старыми документальными кадрами, и только иногда показывает какие-то дома и улицы — сегодняшние, и, конечно же, старые фотографии — во весь экран.

Наверно, дело ещё в том, что Лиля Лунгина — радостный человек, и кровожадное время у неё поворачивается возможностью в любых предложенных обстоятельствах, жить осмысленно и увлекательно. Да, она и повторяет всё время — не отчаивайтесь, часто бывает, что из плохого вдруг вылезает откуда-то неожиданное хорошее.

Какова история с Карлсоном! Когда Лунгина начинала свою переводческую деятельность, она не получила заказов на переводы с французского, потому что французский знали многие, и издательства по указу партии и правительства не давали работу евреям, когда можно было найти кого-нибудь другого — ей предложили стать переводчиком со скандинавских языков. И она стала читать тоскливые нудные ненужные романы, впадая во всё большую безнадежность. И вдруг случайно открыла совершенно неизвестный роман совершенно не известной в России писательницы — и это был Карлсон.

А как она радостно рассказывает! Как прекрасна история про Твардовского, читавшего у Лунгиных в доме вслух «Ивана Денисовича», — явился и сказал, что пока не дочитает, не уйдёт. Как славно

слушать про то, как Твардовский приходил в гости, как весёлой компанией выпивали, как самый трезвый — Нусинов — отводил Александра Трифоновича домой, и жена Твардовского, видевшая в результате только Нусинова, считала, что именно он — главный пьяница, и стыдила его безбожно за то, что он спаивает её мужа. Лунгина с таким заразительным смехом это рассказывает, что я тоже давилась от смеха.

Страшно хотелось бы расспросить о том, как сосуществовали рядом, в одной довоенной компании, люди, понявшие про советскую власть ещё тогда, и люди в те времена безнадёжно советские, тот же Лёва Безыменский.

Очень хочется узнать с парижской стороны про то, как Лиля с мамой жили в Париже, про кукольный театр «Петрушка», который организовала Лилина мама. Целый ряд людей, которых знала я, не могли про это не знать. Но поздно. Все ушли. Молчание.

Когда Лунгина рассказывала про то, как они с мамой возвращались из Парижа к папе в СССР, и как в Бресте переехали границу и ждали, пока сменят колёса, я вспомнила книжку Натальи Ильиной, которая после войны приехала в СССР из Харбина.

Девочка Лиля, зайдя в зал ожидания, увидев лежащих там вполку людей, понюхав этот советский воздух, сказала маме — «давай вернёмся», а мама ответила ей, что всё, дверь закрылась — это, доченька, Советский Союз, пути назад нет. Юная Наталья Ильина, оказавшись в каком-то сибирском городе, решила от жуткой тоски, тьмы, коммунального жилья, сходить в кафе. В Советском Союзе в 40-ые годы — в кафе. Она оказалась в вокзальном шалмане и подробно описывает момент осознания — невозможности перерешить.

Рассказывает Лиля Лунгина и про страшнейшие времена, и про менее страшные, вполне вегетарианские. Наверно, благодаря детству, прожитому в остальных пяти шестых мира, она про одну шестую очень рано стала понимать, — когда её в эту одну шестую привезли, не очаровалась совсем.

Фильм снят после смерти Симы Лунгина, он в некотором смысле снят «после жизни», — а получился радостный рассказ о жизни, полной смысла и веселья, рассказ о счастливой жизни, и в пору только повторить — «времена не выбирают» — и за счастье каждый человек отвечает сам.

Несмотря на несходство персонажей, книга Лосева у меня проассоциировалось с книжкой Лунгиной.

Наверно, дело в том, что обе книжки — воспоминания, от которых невозможно оторваться, написанные людьми, с которыми пересекаешься не только во времени, но и в опыте. Собственно, этим сходство исчерпывается. Жизнерадостная москвичка Лунгина и жёсткий ироничный бывший ленинградец Лосев Ленинградец, прибившийся к Нью-Хэмпширу (да, сознательно пишу через «Х», а не через принятое по-русски «Г»).

Кстати, он пишет, что дом для него — его деревянный дом на склоне над ручьём, у края леса, откуда приходят олени и изредка медведь. После каменного Ленинграда, с которым был сращен первую половину жизни. Кажется, единственный, кроме Бродского, известный мне эмигрант, не возвращавшийся в город. Чем больше была сопричастность к городу когда-то, тем более мне понятен не-приезд.

Самое убедительное у Бродского — про невозвращение на место любви.

Один раз по жуткому делу об отъёме квартиры у вдовы отца Лосев съездил в Москву и рассказал про это в «Меандре». В Москву 98-го года, очень у него страшную под апрельским снегопадом.

Воспоминания — пятна, не роман о собственной жизни, а фотографии, выхваченные из толпы других фотографий — наталкивают на собственные — особенно две странички маленькой главки «Отъезд» и две — столь же маленькой главки «Заграница», — точнее было бы, конечно, «Приезд».

«Четырнадцать недель между 11 февраля 1976 года — кажется, единственный период в моей жизни, так отчётливо с двух сторон отчёркнутый: переходом через таможенный контроль в Пулкове, с одной стороны, и ранним утренним перелётом из Нью-Йорка в Детройт — с другой. Между этими датами, включая фантастический вечер 2 июня с Иосифом в Нью-Йорке, итальянское интермеццо, счастливая вымарка, временный выход за скобки жизни. А в ходе жизни мы ушли за таможенную перегородку в Пулкове и вышли из самолёта в Детройте в американскую жизнь...»

И из главы «Отъезд» — кстати, в 70-ые синоним слова «эмиграция», причём никто не говорил «эмиграция» — только «отъезд».

«...как только мы приехали в аэропорт, перехват горла ослаб и исчез, задействовал какой-то защитный механизм и наступило состояние эмоциональной анестезии...

Потом мы прошли через паспортный и таможенный контроль. Некоторое время до объявления посадки на Берлин мы сидели в

зале, над которым было нечто вроде застеклённой галереи. Там стояли наши провожающие. Я смотрел на них и думал, что вот так должен чувствовать себя покойник в открытом гробу, то есть смотреть вверх на заплаканные лица и не чувствовать ничего.»

Нахлынуло собственное, похожее, о чём давно хочу написать, да руки не доходят...

Но удивительнейшее свойство этой книжки Лосева — она создаёт ощущение отсутствия внутренней цензуры (хотя в главе о Москве тень её мне в одном месте показалась...)

Может, дело в том, что Лосев знал, что книга будет посмертной...

Качаешься всю жизнь на качелях — между нежностью к повторенью и охотой к переменам.

Когда в два часа ночи сидишь за компом после душа, наставив уши — посудная машина замолкает, шины на улице, часы — из каких таких кирпичиков складывается ежедневность — защищённость стенками, уставленными книгами, большую часть которых не будешь читать никогда.

Можно глянуть на зелёные огоньки в гугл-токе — уже только в другом полушарии — у нас спят, связать глазастую зелень старого приёмника, гугл-тока и такси на пустоватой зимней улице, на которой ночь, даже если 5 вечера. А с котьим глазом Вознесенский приёмник уже повязал — давно, однако.

Можно взять с полки что-нибудь читаное-штопаное, а можно залезть в нору-пещеру под одеяло и тёплый бок, попытаться не заснуть — показать себе кино, не отпускать вечер, благо нет завтра будильника, но заснёшь, не досмотрев. Толькобытолькобытолько бы — детское заклинание — выторговываешь у судьбы-индейки-злодейки ещё год, два, пять, восемь, вечность — маши хвостиком, золотая рыбка, гляди лупоглазо.

Нет новостей — хорошие новости. Отсутствие сюжета — лучший сюжет. И не надо нам роковых минут. Но в Париже в 68-ом — я бы не отказалась побывать.

Зато в семидесятые годы в России нравы царили почти патриархальные — сексуальная революция, вроде бы, уже случилась, но даже в нашем продвинутом интеллигентском отчасти богемистом кругу замужество было статусным понятием — девица в 25 лет не замужем — вызывала у мужиков желание спрятаться, потому что по определению она не могла не стоять охотницей в кустах в ожидании почти первого встречного.

Женились рано, потому что привести в дом к родителям гюдругу или друга было можно в случае редчайших родителей. И вообще вечно рассказывали анекдот, который я уже забыла толком — про то, что бывает негде, не с кем и некогда. Так вот негде — это было постоянное состояние, оттуда и подъезды-парадники — хоть с портейном, хоть с подружкой.

Мужики дарили цветы, делали предложение, подавали пальто и руку при выходе из автобуса, платили за билеты в филармонию, девочки выпендривались, ждали, пока в них влюбятся, пускались во все тяжкие и хотели замуж, в походах носили рюкзаки полегче.

Тогдашняя культура одновременно возносила женщин на недосягаемую высоту и ставила их в зависимое от мужика положение. Собственно, веками так и шло, ничего нового.

А из 60-х-70-х достаточно процитировать.

«За что нас только бабы балуют и губы, падая, дают»

«Ваше величество женщина, да неужели ко мне»

«Алегко ль в капронахждать в морозы»

«Ты спрашивала шёпотом, а что потом, а что потом»

«И муравей создал себе богиню по образу и духу своему»

Ну и так далее, можно продолжить.

При этом девочки учились наравне с мальчиками, получали то же самое высшее образование, в походы ходили наравне. Однако когда девица выходила замуж, от неё ожидалось, что она заведомо подписывается под тем, что карьера мужа для неё существенней собственной, что сидеть с ребёнком будет она, что дом в большей степени на ней, чем на муже.

Когда-то в восьмидесятые в Лондоне я разговаривала с двумя тётками-феминистками из Imperial College — они съездили в Россию и написали книгу о русских женщинах. В основном, книга состояла из интервью. Тёток этих поразило, насколько русские женщины зависимы и согласны на зависимость. Тогда я не удивилась, я была ещё относительно недавно из России, и мне казалось вполне естественным, что они были готовы ехать за мужьями, бросая собственную работу. Поражало только, насколько давшие интервью тётки несчастны в повседневной жизни — и ткачихи, и кандидаты наук — они ставили всё на мужиков, а те давали им крайне мало.

На самом деле, вполне очевидно, что классическая система отношений могла существовать только при чётком отделении девочек

от мальчиков. Если бы девочки учились вышиванию, а мальчики выпиливанию, то вполне вероятно, что жизнь продолжала бы идти заведённым чередом. Но мальчики и девочки стали учиться вместе — одному и тому же.

И стало совсем непонятно, почему традиционная разница в поведении сохранится. Ну, рюкзаки мужики таскают более тяжёлые, потому что они сильнее. Подавать пальто? Это условный танец типа менуэта. Мне его танцевать несподручно, в рукава не попадаю.

Непонятно, почему женщина должна в большей степени заботиться о доме, если на работе она работает ровно столько же. И непонятно, почему выйти замуж статусно важно, а жениться нет.

Естественно, бывают сумасшедшие феминистки, как бывают сумасшедшие филателисты, сумасшедшие кто угодно — психи всякие важны, психи всякие нужны.

Когда я увидела в Штатах в университетской среде, что там полностью отсутствует понятие нарядной одежды — студентки и аспирантки во всех ситуациях жизни ходили в штанах и футболках, — мне это показалось странным. Сейчас я и сама такая и перестала понимать, как можно иначе. Но ведь есть и другие, и те мужики, которым очень хочется общаться с дамами, вероятно могут в любой стране мира их найти — и подавать им пальто, и пропускать в дверь и играть во всю эту атрибутику. Но огорчаться, что есть большой круг, в котором игры несколько другие, по-моему, неосмысленно.

Мы лет десять назад смотрели аргентинский спектакль «танго-танго» — было здорово, народ аплодировал, как безумный. И я тогда подумала — эпоха победившей сексуальной революции хлопает эпохе до неё. Несомненно. Так же несомненно, как то, что предложи современной работающей женщине стать Дамой, Вашим величеством, или ещё кем — она с большой вероятностью не захочет — чур меня, чур. И вообще на двух стульях сидеть неудобно.

Тонкая граница между сном и памятью. Возвращаются счастливые сны, а может, воспоминания.

Вчера была гроза — молнии росчерками через всё небо, ливень. Гроза, одним словом — осенняя гроза. Мы в сумерках, быстро превращавшихся в тьму, с мокрыми ногами и в мокрых куртках тихо ехали в потоке, глядя на молнии, которые перечёркивали ветровое стекло, и считая секунды до грома.

Удивительно одинокое дело ехать в осеннем вечернем потоке, глядеть на встречные фары — хрупкие, замкнутые тонкими стенками, пространства машин — не докричишься. Почему-то молнии

разрушали эту вечернюю меланхолию, и встречные фары казались менее безразличными.

Я заказала себе грозу на Новый год — хорошую январскую грозу с молниями и громом.

А вчера поутру дождь пытался отыграться за сухой сентябрь. И страшно горели жёлтые фонари, самым своим утренним существованием сгущающие подступающую тьму, ещё дальше отодвигающие рассвет. Но не похолодало — мокрое тепло, хлюпающие кроссовки, череда запахов — вот булочная, а вот газетный киоск, хоть с закрытыми глазами иди — отвлекали от этих фонарных напоминаний — будет зима.

Только вдруг наступила взвешенная в воздухе лёгкость. Опять стало тепло — не лето, не жара, а невесомое осеннее тепло, когда подставляешь нос вылезшему из-за облака солнцу, и в свитере на улице тепло плечам.

Тихая такая осень, только сухой лист за мной побежал по тротуару от автобусной остановки, но скорей шёпотом, негромко.

Но тополь законный уже лимонный, и в 8 утра под розовыми облаками сверкает, и за автобусным окном ухватываются сюжеты для небольших картин (бодливой короле бог рог не дал) — вот резная ворона пролетела над густыми каштановыми зарослями, за которыми не видно домов, в вороне целеустремлённость, непонятно, почему она по-русски — растяпа. Растяпа уж скорей сорока, рассеявшаяся на фонаре, разинувшая рот.

Вот розы в чьём-то саду, вот опять столик и пустая кофейная чашка — почему меня так всегда задевают эти чашки на столиках — было и нету? Эффект присутствия?

Лёгкая чуть приплясывающая осень в шапке набекрень Розовые облака, растёкшиеся по небу лужицами сиропа. Пышные розы во дворах. Мелкий звонкий стук желудей и глухой — яблок.

И яблочный запах на полквартиры, и помидорный кипящий соус.

Но в 8 уже почти темно, и от лета отделяет целый прожитый месяц.

В субботу в числе прочих грибов, белых и не белых, мы нашли огромный не гнилой белый грибище. Дома выяснилось, что в шляпке его живут трое чёрных крепких жуков, из тех, что солидно ползают по дорожкам, а если летят, так плохо смотрят по сторонам и норовят попасть в лоб. Я отправила жуков по очереди через окно на улицу. Может быть, они найдут своё счастье на нашем газоне.

Завтра обещают грозу и 24 градуса. Деревья прислушиваются к фонарям, или ещё откуда-то знают про зиму, и отряхиваются под дождём, как шелудивые псы. Когда-то во Флориде я изумилась тёплому листопаду.

А кричащие по утрам над фонарями чайки перекидывают мостик в мою естественную пограничную среду обитания.

Рыжий мокрый юный кот умывается под кустом, поколения котов сменяются быстрее, чем людей, но коту вряд ли кажется, что время несётся вскачь, увеличивая скорость. Кот живёт в ежеминутности, или так нам кажется.

Нежная осень, как будто старое треснувшее зеркало в комнате, куда свет пробивается через щель в задёрнутых шторах.

В этом свете пляшут пылинки, а в зеркале невнятно отражаются углы мебели, чашки, и трещинки бегут паучьими лапами.

Перевели время на зимнее, вечером будем платить тьмой за утреннее солнце через липовую золотую крону, блики на черешневом стволе.

Ох, умей я рисовать, писала бы я портрет рыжей лохматой косящей глазом коровы, которая по ночам подцепляет на рога месяц, а луну — никогда, и не заморачивалась бы со смыслом.

Наше щенячество при нас — картинками в книжке, листай, гляди, пропускай.

Людей помню — в пейзажах. Разговоры — в пейзажах. Центр жизни, вечность — пейзаж — море, скрипящий песок, вода, вереск. тёплый камень, и по кругу, и без конца

Рим, ночной ледяной ломоть арбуза — из-под фонтанчика, падающего в каменную чашку, где он лежит рядом с половинкой кокосового ореха. Бретань — городок на берегу, едем вдоль моря, вдоль моря. Вершина зелёной горы, внизу красная черепица.

В раннем утреннем тёмном городе — островки тёплой манящей жизни — кафе. Открытые двери, железная стойка бара, за ней владела перетирает молочно-белые чашки, единственный посетитель хрустит газетой, по французской странности обмакивает круассан в кофе.

Когда я прохожу мимо рынка у самого кампуса, уже светло — бегу на лекцию, не захожу — чёрный человек в белом переднике огромной метлой подметает между рядами. Рынок городской, зелёные кабачки и красные помидоры слишком уж ровны, слишком аккуратно лежат — отчуждённые от огорода, но успеваю увидеть большой алюминиевый бидон с вмятиной и разнокалиберные яйца

— на одно темноватое пёрышко налипло. Всё-таки удивительно — нас так много — центров собственных вселенных — и в целом всё образуется — не так уж часто сталкиваются машины, и на тротуарах мы друг на друга не наступаем, и хлебом пахнет, и кофе.

Что ж — пора. В цветочном магазине среди хризантем, вереска, георгинов — мимоза — сияющая юная мимоза — значит, зацвела в лесах возле Ниццы. А у нас клумбу вскопали — у самой калитки — жирные комья лежат тихие и живые. Наверно, посадят самые зимние цветы — дрожащие анютины глазки.

Живи, радуйся зимним радостям — может быть, поспели рыжики в лесу — после дождей и холодноватого солнца, а в ноябре винный салон — побродить по рядам, попробовать вина у вислых продавцов-виноделов. Засияет фонарями хурма и зелёными блестящими листьями корсиканские мандарины, там и Рождество, и до весны останется — всего ничего.

А вчера не было ни одного гриба. Даже мухоморы стояли потрёпанные и печальные. Чёрт его знает, о чём грибы думают, как они решают, вылезать ли, пробивать ли холодную землю и мокрый мох. Но паслись у леса лошади, и на бесприютных полях возле кукурузной стерни сидели чайки и поодаль от них вырезанные из чёрной бумаги вороны.

Огромный фазан, не замеченный Катей, лениво перешёл нам дорогу — Катя успела к шапочному разбору, засунула нос в его следы.

Дождь начинался то и дело и то и дело проходил. Уютно шуршал в кронах и не успевал намочить плечи.

И вылезало солнце — ослепительное, почти счастливое.

А на ферме последние помидоры лежали, вдавив бока в мокрую глину, сияли тыквы, пахло яблоками, и продавали устрицы.

Бородатый улыбчивый устричный хозяин из-под Ла Рошели открыл полную морской воды свежайшую устрицу и протянул мне — попробовать. Острейший вкус моря ещё несколько минут оставался во рту. Я пожалела нашего устрицеоткрывателя — и ограничилась всего двумя дюжинами.

В сгущающихся сумерках, под серым печальным небом на крыше невысокого дома сидела ворона и что-то говорила, широко раскрывая клюв. Может быть, упрекала бога в том, что на дворе осень. Эта ворона потом привиделась мне в полусне, и я подумала, что, наверно, вороны — это богоборцы, может быть, революционеры. Во всяком случае, их не устраивает существующий порядок вещей, и они всегда готовы бросить ему вызов.

Эти решительные чёрноклювые птицы чаще всех разговаривают с небом — и на равных — не просят — требуют.

Смотришь на городских чаек, кричащих в тумане над крышами, а они тянут тенью — море, Бретань, городок Сен-Геноле.

Необъятный пляж в прозрачный серый день, дома, повернувшись грудью к ветру, окна с синими наличниками. Почти ничего не растёт, кто ж выдержит этот соляной ветренный напор.

Чёрные голые камни в море, резкие удары волн, брызги фонтаном, табличка на стене о том, что когда-то в 19-ом, позапрошлом веке, тут утонула семья мэра — не ходите, дети, в Африку гулять. И огромные чайки в ряд — на крыше бетонного сарая консервной фабрики. Разинутые рты, взмахи мощных крыльев в воздухе. Тени чаек на песке, на траве — в Бретани, в Нормандии.

Закидываешь сеть в Париже, вытаскиваешь в Бретани.

Нет большой разницы между морем и горами — и там, и там — конец земли, вечность. Морская мокрая мне родней.

Дождь стучит по капюшону, как по крыше палатки.

Неделю бормочу — дождь стучит по капюшону, как по крыше палатки, — с первого осеннего ливня, под которым бежала, не забыв дома куртку, впервые учуяв запах брезента от гортекса, и высывался нос с кагллей на кончике.

Этот характерный шум — дождь стучит по капюшону, как по крыше палатки.

Давней брезентовой у Щучки, — тогда торжественно называли Щучьим озером.

И лягушата на дороге — в первый раз я видела — столько сразу.

Великое весеннее странствие — «головастики спешат превратиться в лягушат» — и дальше по привычке спешат.

Мы с папой светили под ноги фонариком, чтоб не наступить. Мне было лет десять, и это был поход.

У Берестового озера в Ягодном, от тех времён фотография осталась — закопчённый котелок в ярко-зелёной траве, рядом огурец в пупырышках и помидор. Мы со слайда отпечатали и на стенку повесили.

А потом была палатка из парашютного шёлка, лёгкая — компанией вскладчину купили списанный парашют и пошили — палатки, штормовки. Она была красавица — сине-жёлтая, и штормовки такие же. Наши шил бегемот, я совсем не умею.

С ней ходили в горы, сверху её накрывали полиэтиленовой ска-тёркой. И дождь грохотал, и полиэтилен страшно хлопал на ветру.

Уезжая, мы её подарили.

Потом французские, туго натянутые, непромокаемые, непахучие — дождь барабанит почти как по крыше дома.

И вдруг от гортексового капюшона — к тому брезенту — такая слабая преграда между тобой и миром. А надо же, можно спрятаться, свернуться, отгородиться, стать почти невидимкой в мгновенной вечности — на полянке, там, где три поганки, или просто на улице по дороге к автобусу. Если только дождь стучит по капюшону, как по крыше палатки.

Хищные утренние фонари — сосущие бледно-жёлтые круги, свирепые вывески — мёртвые синие, красные, как разведённая кровь, фары, друг за другом с утробным урчаньем.

Разве сравнишь с тёмным тёплым лесом — там на кривой дорожке, где мы пробирались ощупью, сова мазнула крылом по ветровому стеклу. И светятся только светляки, да «в кустах игрушечные волки».

Я бежала по улице, как сегодня узнала, на чистый восток — солнце почти невыносимо било в глаза. Зелёные юные одуванчиковые листья лезут из земли, и огромные банановые за калиткой — не умер прошлой зимой наш банан в кампусе, только на холоду застыл, затаился, засох.

Не склёвана рябина — столько её, что не справиться дроздам.

И любой пруд красно-зелёно-жёлт, и под ногами шуршанье.

И такая тишина, неподвижность под этим эмалево-синим небесным куполом — кажется, встряхни тихонько, и посыплются листья, медленно планируя, как снег — на красные крыши домиков в заволаживающих игрушках — городках в стеклянных полушариях.

Сегодня утром — пинг-понговый стол под каштанами, засыпанный сухими листьями, горка листьев вздрагивала от ветра, кошка растянулась на скамейке, острые красные крыши, по которым скачут солнечные блики, трутся о серые бетонные кубы.

Носом в книгу, почти проезжаешь остановку, в последнюю минуту — протираешь глаза на тротуаре у кафе — серый свет, запах кофе и хлеба, рыночники выкладывают разноцветную снедь, зелёные помидоры (успеют ли созреть?) в палисаднике, и откуда-то гу-гу — гу-гу — летняя гугутка — куда ей деться в тёплом октябре?

Знакомые лица картёжников за стеклом кафе.

Как в Риме двадцать лет назад — в моих любимых итальянских барах, в которых уютно, как в чьей-то кухне, и картёжники с наступлением темноты гонят по домам чьих-то не чужих им детей.

Как в том баре на уголке, куда при удобном случае убегал Синявский, чтоб пообщаться с местными мужичками на вроде бы незнакомом ему французском, а потом Марье цветочник уступил розовый куст за полцены, половина — для месяё...

Вчера утром брела в тёплом тумане, странное такое состояние — гулкая вата, голубое солнце за полупрозрачной сероватой кисеей, пятнами цветы в палисадниках — розы, золотые шары, серую толстую кошку на заборе приняла за мягкую пушистую кофту.

Вспомнила рассказ Казакова «Осень в дубовых лесах». Как звенит жестяное ведро, с которым он к реке за водой идёт.

Страшно захотелось уехать куда-нибудь — тривиальное такое желание — без интернета — в Бургундию, например, — озёрная вода сладкая, купаться ещё вполне можно. Совы по ночам. Листья под ногами... Белых уймища — там островок есть, на который вплавь — несколько метров, и босиком грибы собирать, а обратно плыть, как Чапаев, высунув из воды руку с мешком.

И ярмарки винные по субботам...

А можно в Альпы. Лиственницы, наверно, уже жёлтые. Рыжики. И в озере в Анси тоже купаться можно...

Навечно зелёные помидоры,
Трухлявые облака,
Коричневый скрип — под ногами,
Запёкшееся шуршание — над головой,
Прививки от гриппа.
Переживание зимы — жевание зимы
Коровой в деревянном сарае в запахе молока и сена и
мокрых тёплых носов.

На нас набросился почти-ураган.

Вчера он ударил в Бретань.

И мне, в который уже раз до внутреннего мычания захотелось оказаться там, на берегу, на тропе высоко над морем — с открытой, конечно, сдует, но ведь есть же участки в терновнике, в ежевичных зарослях.

Вот встать там, на краю, перед выходом на открытое место, ухватиться за куст, и в морду снизу полетят брызги, и дышать станет нечем, и фонтаны ускал — всё выше, выше и выше. И чайки-отвечайки, небось, кричат, и тени крыльев летят по лежащей траве.

А можно выйти на пляж, на песок, и под шипенье глядеть на бешеную пену.

Но я в Париже, у меня утренняя лекция только что кончилась.

Гудит ветер, хоть и нет у нас каминных труб. Трава несётся по лужайке, и тополя машут руками. На каменном полу в главном здании — двери открыты — скачут сухие листья платанов.

Я бегу через весь кампус, хочется оттолкнуться как следует и пролететь хоть несколько метров, чтоб потом приземлиться на траву.

Говорят, что в Триесте зимой вдоль улиц натягивают канаты, — иначе не удержаться на продутых ветром улицах.

И волны, наверно, накатываются на главную площадь, у которой одна сторона — море.

И кричит попугай в клетке в моём любимом ресторанчике.

Там я тоже согласилась бы зимовать.

Но «далеко, на севере — в Париже»...

Как-то раз лет 8 назад мы мирно гуляли по лесу Рамбуи — *tarzanissimo*, *bgmt*, наша французская подружка Сильви, собака Ньюша и я.

Шли по дорожке и вдруг где-то вдалеке на ней заметили трёх коров, идущих нам навстречу. Очень удивились. Не пасутся коровы прямо в лесу Рамбуи, не ходят по дорожкам. Через некоторое время мы заметили одну небольшую странность — рога у коров огромные и острые. Ещё через некоторое время произошла встреча — это были не коровы, а буйволы, такие, каких обычно видишь в зоопарке, где ты отделён от них решёткой. Мы с бегемотом шли чуть впереди, — буйволы подошли к нам вплотную, попытели, обнюхали нас, пошевелили носами, тяжко вздохнули и пошли дальше.

Пока происходило обнюхивание, мы стояли, не шевелясь. Сильви с *tarzanissimo* были с другой стороны дорожки, в двух шагах от нас, Ньюшу *tarzanissimo* предусмотрительно взял на поводок. Когда буйволы подошли к ним, Сильви попыталась спрятаться за дерево, а *tarzanissimo* замахал в воздухе большой палкой. Буйволы вздохнули ещё тяжелее. Они явно огорчились и отправились своей дорогой. Мы тоже. *tarzanissimo* потом утверждал, что палкой он махал, испугавшись за Ньюшу.

Через неделю после этой странной встречи мы опять приехали в лес Рамбуи — и, о чудо, опять увидели наших знакомцев. Они паслись в большом загоне и, заметив нас, помчались к разделявшей нас загородке. На этот раз я не сплеховала, у меня было несколько яблок.

Всё стало совершенно ясно — буйволы пытели и нюхали, прося, чтобы их угостили, удивляясь, что ходят по лесу такие злые люди, у которых не допросишься хоть морковки какой!

Лес Рамбуи — удивительное место. Во-первых, на опушке этого леса жил Мальчик-с-пальчик, так что, наверно, и владения маркиза Карабаса неподалёку.

Во-вторых, буйволы не в каждом лесу встречаются.

В-третьих, *tarzanissimo* кормил там кабанчика бананом. Погибла кабаниха, осталось трое сирот, люди их подкармливали. Обычно им, конечно, клали еду в траву, а *tarzanissimo* протянул банан — кабанчик подошёл и стал есть.

В-четвёртых, пару лет назад мы, проезжая через лес Рамбуи, заметили дорожный знак, на котором был изображён выскакивающий на дорогу кенгуру. Мы, естественно, решили, что это шутка — ну, нарисовали кенгуру вместо оленя.

Оказалось — правда.

Когда-то кенгуру жили в загоне на радость прохожим людям, а потом сбежали и стали жить-поживать, детей рожать прямо в лесу на свободе.

А позавчера мы ездили к зверям в Туари в лёгкий летний день, и жёлтые листья декоративные, раскрашенные сияли на деревьях, и в траве у львов, у медведей росли подберёзовики, мухоморы — аляповатые, не хуже деревянных, с ленинградского рынка, — зонтики и шампиньоны. И улыбался зебрёнок, и слон хоботом простодушно ласкал слониху.

Сегодняшний чёрный вечер был нестрашным. Мягко качались тени платанов на светлых стенах домов. Фары были доброжелательны, особенно кругломордые маленькие машинки — даже улыбались.

Может быть, дело в том, что не холодно? Или в том, что я встретила шесть собак по дороге к остановке? Почти все знакомые. Мир казался обозримым, не слепая марионеточная тревожная миллионность города, — небольшая деревня, в которой, как говорил один мой знакомый швейцарец, в такой выросший — приезжаю домой и вижу, чьи дети играют на улице.

Кто там вечно плачет — озёра наполняет — Ниобея? Не хочу, не хочу, чтоб падало время куда-то в бездонное дно колодца, год сменялся другим, дырявились потери, бессмысленные цифры, уходящие в прошлое — пусть уж книжная вечность, где дилижансы соседствуют с автомобилями, расцветают каштановые свечки, сирень, падают кленовые листья, Джен Эйр в ледяной декабрьский тёмный день слышит издали стук копыт по мёрзлой земле, а Хемингуэй ходит в свитере на голое тело, потому что денег нет на рубашку.



Интересно, вспоминал ли Бродский, когда он писал «и от Цезаря далёко, и от вьюги», — Эренбурга — «где не разыщешь слова «вьюга» ни в памяти, ни в словаре». Вряд ли осознанная переключка.

А и то сказать — какая вьюга в Риме — вот в Ленинграде, там, где «чёрный буксир прокричит посередине реки», там где «безрадостную зимнюю зарю над родиной деревья поднимают» — там да.

А «розы плещут в декабре» в Подпарижье.

Листья скрежещут по асфальту, отчёркивают лето. Они стали падать неделю назад, в день, когда перешли на зимнее время. Вокруг сплошные *déjà vu*, и не знаешь, где курица, а где яйцо. И глядя на голые стволы и ветки, вспоминаешь развалины готики — рамы витражных роз, в которых светится небо.

Недавно за углом нашего дома квадрат перекопанной земли засадили мелкими красными невзрачными розами — прохожу мимо и откуда-то совсем с первобытного дна памяти всплывают пузыри — сощуришься — увидишь — шиповник на песке, розовые цветы и красные коробочки с семенами — какая-то прогулка возле дачи, которую тыщу лет назад снимали в Курорте, — бабушкина сестра Галя с косой вокруг головы, какие-то родственники — мешпуха — и мы

— дети — идём-гуляем. Плоский до невозможности мелкий серый залив с рыбкой колюшкой в залитых водой ямах на песке — откуда эти лужи, если нет там никаких приливов. Из тогдашних взрослых никого не осталось, а мы, тогдашние дети, проживаем свою благополучную жизнь — бэбибумеры — первое поколение, обошедшее без войн и лагерей. В старость не верим, вцепляемся когтями в ежеминутную вечность, бегаем за автобусами и точно знаем, что если перестать бумкать и как следует сосредоточиться — хорошего не жди — вот и бумкаем дальше, посвистывая в свистульки из акациевых стручков!

В осеннем лесу, где вглядываешься в пёстрые листья в поисках грибной шляпки, где сходишь с дорожки и бродишь сомнамбулическими кругами, легко отрываешься от направленного течения времени, оказываешься в невесомости, и только резкий к вечеру свет на стволах, а за ним предчувствие сумерек указывают на то, что этот день всё-таки уйдёт, ускользнёт между пальцев. Основной смысл грибов — в этой отрешённости вглядыванья, в пляске листьев перед глазами, и за эту подвешенность, за эту нейтральную полосу, вклинившуюся в плотно упакованную жизнь, можно потерпеть последующую чистку, кастрюли и сковородки, плюющиеся грибной пеной.

А когда наваливается заоконная тьма, комната защищает от неё отражениями книжных полок и торшера в стёклах.

Жизнь старой собаки — зарыться носом в пахучие листья, достать из-под них славную вкусную палочку, погрызть с хрустом. Иногда и корочка найдётся, — например, на берегу пруда, несъеденная уткой.

Нос приятно засовывать в человечесьи колени, тереть его так, чтоб запах на штанах остался, чтоб все прохожие собаки твёрдо знали, не просто себе джинсы — собачьи джинсы. А вот подпрыгнуть, чтоб передние лапы на человечесью талию поставить и немного потанцевать, — не выходит, — хочется, а никак.

Кошка трётся серой башкой о чёрный нос. Можно проявить к ней благосклонность — вылизать её изогнувшуюся спину.

Медленным шагом кружок по лесу — в каштановые коробочки нос не совать — колюче. А там, где тропинка идёт по краю склона, остановиться поглядеть на деревья на той стороне оврага, потом послушать сорочью сварливую болтовню. Приятно встречать собак, особенно маленьких собачек, — обнюхать, если нетрусливая попалась, хвостом махнуть приветственно — и дальше по знакомой

тропинке, мимо дружественных деревьев. Потом домой — лежать, думать, за человечьим ужином поклянчить яблочко.

Если б ещё не расплзались лапы, когда нужно подняться на скользком полу.

Старая собака — это как старый ребёнок...

Ещё снилось мне тревожное. Какой-то загородный тесный дом. Кажется, зима. Тёплые носки и свитера я засовывала комком в шкаф, и не закрывалась дверца. Потом я повела Катю на совершенно тёмную улицу, по которой бегали синие блики, даже не блики, — две параллельные световые полосы. Я не взяла Катю на поводок, и она помчалась — так, как бегала только щенком. Машин не было, но я так боялась, что они появятся. Я неслась за Катей, а она за этими тёмно-лиловыми полосами. И я поняла, что она бежит за полосами от фар на потолке. И тут же во сне усмехнулась — ну, не паук же Катя, чтоб по потолку ходить. Я отловила её на холодной мокрой улице, увела домой, очень довольная, что Васька не знает про гонку.

Тут я и проснулась от васькиного добудильного тяфканья в ухо: тихий такой гав.

Вспомнила, как в детстве Катя как-то гуляла с папой и до полу-смерти испугалась петарды, и выскочила из лесу, перебежала улицу, — папа поймал её уже на противоположной стороне. Передёрнулась, опять ощутив, как он испугался.

Эти полосы на потолке — но они ведь жёлтые, а не синие — в них сосредотачивается зимняя тревога. Они ползут исподтишка в самое печальное зимнее время — в пять, или там в шесть вечера, если днём в викенд дома, если вздумаешь поваляться и заснёшь когда светло, а проснёшься в сумерках. А Катя во сне была щенком, и она ловила эти глупые полосы, и всё хорошо кончилось.

И на улице тепло, и горы платановых листьев, сорванные воскресным ветром, пружинят и скользят под ногами, и запах осени от них нестрашный — вкусный с памятью о костре, о дыме. И толстая сорока аппетитно ест рябину, и глядят страшными глазами игрушечные волки — «придёт серенький волчок и ухватит за бочок»...

Утром, в полусне, когда спотыкаясь о понатыканные стулья, пытаешься, по дороге ничего не опрокинув, заползти в заготовленные с вечера джинсы, я услышала чаек через толстое двойное оконное стекло. Кричат морские громадные чайки, те, что любят сидеть на крыше серого бетонного склада в порту бретонского городка Сен-Геноле, и чайки поменьше, чьи тени проносятся над вереском, над

осокой, а море далеко внизу, они тоже кричат. Маленькие чайки — помойные птицы, едят хлеб и рыбу и чёрте что едят — они носятся над Сеной, сидят на воде на нашем пруду, они не очень громкие, эти чайки. И чего им чиркать небо над газоном, над жёлто-зелёным растрёпанным тополем, над голым кустом сирени и жёлтой берёзой. И кричать — чего?

Они не гнались за едой, они просто играли в пятнашки и сообщали миру — мы тут — мы есть, так что мир в квартирах за закрытыми окнами не мог отмахнуться от их существования.

Кошка Гриша сидела на стуле и пялилась в окно круглыми зелёными глазами.

И я, проснувшись, стояла и глядела на неотжатое серое небо, которое они со свистом взрезали. И даже сороки не ссорились, не вмешивались, степенно сидели на деревьях — на тополе, на берёзе — уважительно помалкивали.

Как легко нарезается мир на кадры, только вот собрать воедино и придать смысл — тут-то и начинается кино.

На закрытых утром зелёными крышками букинистических лотках тополиные листья лежат, просвеченные насквозь, цвета лимонных долек, тех, что конфеты. И если захватить в объектив эти листья на переднем плане, то по сравнению с ними шпиль Нотр Дам в небе покажется худеньким и незначительным. Со знакомого кафешного тента на rue des Écoles свешиваются две гигантские виноградные кисти воздушных шариков — одна зелёная, другая лиловая — только взглянув на них, я вспомнила, что как раз прибыло beaujolais nouveau — вот ведь когда-то радовалась винному празднику, когда всюду, где только можно, угощают этим молодым вином, — из бочек, из бутылок — увы, став привередой, разлюбила — вино-то, как правило, совсем поганенькое — это молодое божоле.

У выхода из метро в Вильжюифе, возле кампуса, на затоптанной автобусами площадке сбоку от здоровенной замашиненной улицы на кривой табличке с каким-то указателем сидела ворона — сидела и смотрела то поверх голов в даль — мимо торопливо шаркала утренняя толпа из метро, то, наклонив воронью голову, под ноги, на тротуар. Там чёрный человек в шерстяной шапочке жарил на углях кукурузу.

А напротив калитки в кампус в садике я уже не в первый раз приняла непонятные рыжие плоды на дереве (не привычная сияющая фонарями хурма, что-то другое) за пластиковые ёлочные украшения...

Сегодня утром я вышла под мелкий тёплый дождик, на автобусной остановке, глядя на людей под навесом, поколебалась — и пошла дальше, в лес — очень неохота стало залезать в железную коробку.

Время теперь зимнее, и утром совсем светло. В равномерном отсутствии неба светились липы, дрожал повисший на паутине лист, укрытая земля чудилась тёплой. И неспешно лениво падали листья — бесшумно скользящими лодками. Ручей, текущий через поляну сбоку от дорожки, всегда относит куда-то в деревенскую жизнь, к какой-нибудь английской изгороди, читанной в Джен Эйр, — почему, — бог весть.

И тянется этот сонный тихий дождливый день, освещённый липами да берёзами, и тарашится из-за забора перемешавшая осень с весной расцветшая глициния.

Вот ведь — живёшь — и декорации постепенно выступают на авансцену, превращаются в суть — и за садовыми решётками, за окнами — чья-то чужая неведомая жизнь, которую ты волен придумывать, как хочешь. И не только ты...

Ехала сегодня утром в автобусе через лес — через уходящий ноябрь, этой осенью лёгкий, нестрашный.

В голове крутился вчерашний незаконченный спор с Альбиром — о прозе — в котором я нападала, а он не соглашался. Пыталась, глядя на деревья, сформулировать, чего я от прозы хочу.

Год с лишним назад открыла Каверина, собственно, открыла, чтоб перечитать любимые чужие письма — «Перед зеркалом» — где почти никакой каверинской заслуги нет, но в том же томе был ещё один роман — ужасный, как романы Дудинцева.

Бывает проза — читаешь и завидуешь — вот бы так!

Я завидую Трифонову — сирень лежит на заборе, а потом и забора нет — магазин «мясо» и парикмахерская. Профессор Ганчук, уничтоженный на собрании, в забегаловке, стоя, жадно ест пирожное. Дачный посёлок у троллейбусного круга... Завидую раннему Битову, такому самодовольному, глупому и противному сейчас — а когда-то — «хорошая работа — шкафы таскать», потасканная девчонка, кино днём, новогоднее — сжимающее памятью, снежным утром первого января... Завидую автору одной книги — Балтеру — бежит по платформе придурковатая партийная мама, которую мальчик никогда больше не увидит — даже мёртвой. Немножко Казакову — осень в дубовых лесах, скользкая тропинка к реке, воду

из котелка трудно не расплескать... Но всё же Казакову «почти», не всегда — мешают тривиальные рассуждения за кадром...

Бывает любимая восхитительная проза, которой не завидуешь — ну, Абраму Терцу, к примеру — леший — леший и есть, чего ему завидовать...

Мелькают обрывки чужих жизней, пляшут клочки рваных писем в пыльном луче света.

Кажется, ничья смерть не вызвала столько откликов. И только глянув в википедию, я поняла, что Борис пережил Аркадия на 21 год...

«...не календарный — Настоящий Двадцатый Век.» А двадцать первый?

«Когда погребают эпоху...»

Жизненный опыт у нас у всех очень разный, очень разные страны, где мы живём, они на нас влияют, формируют.

Да, язык нас связывает...

И вот оказывается, что есть люди, которые значили для очень многих из нас. Стругацкие из них.

В том советском детстве-юности — их книжки, среди всякого разного другого, легли кирпичиками в представления о мире, о хорошем и плохом — и похоже, что на симпатии к тому, что они писали, пересекается очень много народу.

Я, кстати, любила у них не так уж много книг. И, наверно, даже не так уж сильно любила. Но они — часть моего мира. Когда-то любила «Трудно быть богом» — а перечитывать не захотелось — почему? — простовато показалось? Очень люблю «Пикник на обочине», больше всего. Люблю «Обитаемый остров». Лесную часть улитки не то, чтоб любила, но деревня Дубна на Ладожском озере, где мы месяц жили после моего 9-го класса, настолько точно там описана, что не прибавишь и не убавишь...

И куда ж мы без «Понедельника», где радостные шестидесятые, когда мир был юн, и казалось, что завтра будет таким же прекрасным, как сегодня, только ещё лучше.

А вот «Лебедей» я невзлюбила, когда читала в «Самиздате» в начале 70-х. С тех пор не перечитывала. И умные благородные пришельцы, уводящие детей от глупых мещан, мне решительно не понравились. Кстати, логики никакой в той моей несимпатии нету — именно эти мысли ведь и приходят в голову, глядя на социальное дно, — отнять бы детей во младенчестве...

С удовольствием когда-то прочла «Малыша», — как и «Пикник», очень лемовская вещь. А ещё «За миллиард лет до конца света» было страшно интересно читать когда-то в журнале «Знание-сила». Только обидно, что не справились они с сюжетом — опять же очень лемовским.

«Град обречённый» бросила в самом начале — было одновременно скучно и неприятно.

И до сих пор не прочла переписку Аркадия с Борисом, хоть и знаю, что нужно.

Вот такая инвентаризация. Никакой роли она не играет.

Стругацкие — часть уходящего мира, с которым я чувствую связь более кровную, чем с сегодняшним... У того мира были священные коровы — свобода и созидательная деятельность — наука, культура, — ради них стоило рисковать, а без них жизнь теряла стержень. И из книжек того времени эти коровы нам до сих пор мычат.

Живёт-живёт человек и враз умрёт, поколения сменяются — нет Лема, Воннегута, Сэлинджера, Стругацких... Для меня они — старшие, родительское поколение, вечные сорокалетние... Сколько их ещё осталось?

Ужасно не хочется отдавать свой мир. Никому никогда не хотелось.

«Когда погребают эпоху,
Надгробный псалом не звучит,
Крапиве, чертополоху
Украсить её предстоит».

У Данелия в воспоминаниях я прочитала, что не виденный мною фильм «Я шагаю по Москве» начался с того, что Шпаликов как-то зашёл к нему и сказал, что придумал классный сценарий:

«Дождь, посреди улицы идёт девушка босиком, туфли в руках. Появляется парень на велосипеде, медленно едет за девушкой. Парень держит над девушкой зонтик, она уворачивается, а он всё едет за ней и улыбается...»

А в 21-ом веке у людей появилось время (при желании можно быт свести к минимуму), и распространился интернет. Тут же выяснилось, что фиксировать происходящее — неистребимая потребность человека.

Причём «писательство» демократизировалось вместе с обществом.

Лес — фонарём освещает тёмное время, в которое мы тихо вплыли.

Тихо, сыро, день хочется выжать, так он сочится плохо отжатым бельём. День под сурдинку, через кисею. Дождь почти неслышный, и теперь уже под ногами листья-листья-листья — сколько ж их было на деревьях, теперь зябких полуголых, и через серую мокрую кисею светятся вдруг витражами клёны или вишни — на них цепляются за ветки жёлтые, розовые прозрачные листья. И каштаны ржавые — какие-то листья выдержат, дождутся весны, став жёсткой обёрточной бумагой. И свет с шуршащей дорожки поднимается вверх.

И вдруг смотришь на рыжую каштановую стену, пустую ржавую аллею, на кашки на кончиках веток, на ворону посреди изумрудной поляны — будто стёрли тебя резинкой — и кричишь — ау — капли шуршат.

«...Темнота успевает сгуститься,

лампы листьев догорают над кучками пепла,

а потом — зима, где ты — восклицательный знак на белой странице...» — у Дерека Уолкота в изложении *tarzanissimo*.

Вдруг после недели то ли дождя, то ли тумана, разорвав в клочья серое покрывало, выскочило солнце — пейзаж после битвы — ослепительный золотой лист в чёрном ломком переплетении веток. Глаз не оторвать от этого сверкающего листа, уводящего в зимнюю Сицилию, где в зелёных блестящих толстых листьях горят фонари-апельсины, и тяжёлые от апельсинов ветки ломаются из-за забора на платформу маленькой станции, и апельсиновые деревья окружают огромный крошащийся под ощутимым весом прошедшего времени амфитеатр Таормины, а по вечерам, когда холодает, когда с маленьких площадей уходят толпящиеся там целый день важные мужики, среди апельсинов загораются рождественские фонарики — зимней ледяной декабрьской южной ночью — фонарики из тёмной листвы светят на апельсины-фонари. И всё впереди, только хвост позади.

Как давно все было...

Самолёт Ленинград-Восточный Берлин был полон. И не было в нём ни иностранцев, ни командировочных. Кажется, когда сообщили зачем-то по радио, что мы пересекли советскую границу, люди зааплодировали.

Почему берлинские рейсы считались плохими, мы поняли, приземлившись. Нас заперли в не слишком большом зале на 5 часов. Единственное, что там было, это киоск, торговавший сигаретами. По толпе пронёсся слух — сигареты можно выгодно продать в Вене, и люди бросились тратить свои жалкие доллары. Помню смутно полное оцепенение, пережёвываешь в голове аэропортовское, пы-

таясь осознать невозможное — пропасть между собой и собственной жизнью, оставшейся там.

Вечером — Вена. В темноте. Небывалый мир — стеклянный аквариум аэропорта, сверкающие вывески, нарядные упаковки, самооткрывающиеся двери, и жуткая робость — ничегошеньки ты тут не понимаешь, да ещё и без немецкого.

Нас встретили представители Сохнута (еврейского агентства, ведающего отправкой евреев в Израиль), — девочка и мальчик — очевидным образом люди из России и не слишком приветливые. Они отобрали сигареты, сообщив, что ввоз их в Австрию незаконен, и пообещав вернуть их перед выездом из Вены — не вернули — естественное подозрение, что сигареты они продали сами. Потом велели тем, кто собирается в Израиль, сделать шаг вперёд. Я не помню — то ли в нашем полном под завязку самолёте в Израиль собиралась одна семья, то ли вовсе никто. Сохнутовцы остались недовольны. Надо сказать, что для меня с самого начала было загадкой, зачем Израилю хотелось заполучить людей, не желавших туда ехать. А ведь некоторых загоняли — хитростью и угрозами, хотя, конечно, немногих. Может быть, у сохнутовцев были какие-нибудь премии за головы поехавших в Израиль? Так или иначе, нам объяснили, что для того, чтоб встать на довольствие в Хиасе (еврейском агентстве, помогавшем уехать не в Израиль), нужно придти туда с открепительным талоном от Сохнута. Так что первое, что все должны были сделать наутро, — посетить Сохнут и получить этот открепительный талон.

Нас посадили в автобус и повезли в пансион мадам Беттины — из памяток отъезжающим, ходивших в списках в Ленинграде, все знали, что есть такой пансион, куда эмигрантов в Вене селят в ожидании отправки в Рим.

Помню тьму за окном автобуса, мост через маленькую речку (неужели Дунай? Нет, конечно, канал какой-то). Потом большая комната, в которой много народу. Сидят на чемоданах. Кстати, наши чемоданы с нами не приехали, самолёт в Вену из Берлина был меньше, чем в Берлин из Ленинграда, и чемоданов не взял. Но в этой комнате с нами и совсем другие люди, — приехавшие на поезде из Одессы, их чемоданы при них. Какой-то старик с совсем пустым лицом слегка покачивается, сжавшись на своём стареньком бауле, и в голову сразу лезут описания эвакуации.

Шушуканье — с ленинградцами обращаются лучше, чем с одесситами, потому что помощниками тут ленинградцы. Все благотвори-

рительные организации брали помощников из эмигрантов, которым за работу немного приплачивали к пособию. И в Вене были такие помощники, и в Риме, — из людей, ждавших отправки.

Стоим в очереди. Какой-то деловитый молодой человек, который уже в Вене явно освоился, некоторое время тут, у каждой семьи спрашивает, откуда они, и распределяет по дешёвым гостиницам, которые Хиас снимал для прибывших из городов и весей всей земли одной шестой. Самым плохим почему-то считается остаться у Беттины, — услышав, что мы из Ленинграда, нас отправляют в гостиницу «Моцарт». Увозят. У всех с собой кипятильники — тоже в памятке сказано, что вещь необходимая. И запрещённые к употреблению в номерах плитки при нас.

Наутро отправляемся в Сохнут. Длинный коридор, очередь. Впускают. Молодые люди с хамскими мордами демонстративно разговаривают между собой на плохом иврите, даже нам слышно, что язык у них хреновый. Врут, не краснея. Грозят. Сообщают, что в Америке всё плохо, молодой женщине ярко еврейской внешности с двумя детьми говорят, что детям в Америке будет плохо, что у них слишком еврейская внешность, что они не смогут там учиться музыке, ещё какую-то чушь. Она соглашается ехать в Израиль, растеряна, чуть не плачет, из Сохнута её увезли в замок Шенау, где народ ждёт отправки в Израиль — без права выхода в город.

С нами разговаривают с полной презрительностью, напоследок, выдавая желанный талон, плюют в морду — «а родители ваши никогда не уедут, мы об этом позаботимся».

Выходим оттуда с ощущением освобождения. Идём в Хиас. Там вежливо и мирно. Через 8 лет я попала в Вену во второй раз — мы с подругой встречали там нашего друга — отказника, уехавшего одним из первых при Горбачёве. Мы были в идеальных блатных условиях, нас бесплатно поселили в той же гостинице, что вновь прибывших эмигрантов, потом отправили среди них в Рим на поезде без билета. И в Вене начальник венского Хиаса сводил нас в ресторан в «Зелёном саду», где между деревьев висели разноцветные лампочки — тогдашний начальник Хиаса, голубой, был приятелем фиктивного мужа моей подруги. Забавно было на другом витке войти в ту, да не в ту реку... Люди, у которых в советском паспорте в пятом пункте стояло «еврей», вставали на довольствие в Хиасе, русских передавали тостовскому фонду, или католикам из Каритаса. Если вдруг попадались религиозные евреи, они тоже часто не оставались в Хиасе, а шли в какую-то религиозную благотворительную

организацию, забыла, как она называлась. Работали все эти организации очень слаженно. Скажем, всем давали одни и те же деньги на месяц. Цифр не помню. Выжить на эти деньги было можно, но, естественно, считать надо было каждую копейку. Впрочем, несмотря на крайнюю ограниченность в деньгах, люди всё же ходили в музеи (которые тогда были сильно дешевле) и чуть-чуть ездили. Но об этом потом.

Что я помню про Вену, в которой, мне кажется, мы пробыли 5 дней? Вечером — ощущение праздника. Из ленинградского снежного ледяного марта — в чистые сухие улицы, по которым люди после работы бредут беспечно, невнятно улыбаются, покупают воздушные шарики и цветы. На рынке клубника. Детовладельцы не удерживались все — просто не могли не насладиться тем, что их дети в марте едят клубнику. И почти все в письмах домой про эту клубнику зимой рассказывали, вызывая, как потом выяснилось, упреки в бестактности. Клубника, конечно же, была невкусная, сейчас и в голову не может придти покупать в марте картофельные испанские красные ягоды...

В 9 вечера город пустеет. Я не полюбила Вену, я рвалась в Рим.

И два музея — в одном мой тогда любимый Климт. Сейчас я его почти разлюбила, он кажется мне чрезмерно декоративным, а тогда я стояла перед картиной «Поцелуй» и балдела — такой она была чувственной и живой. До Вены я знала Климта по репродукциям, мы тогда активно покупали репродукции на слайдах, не знаю уж, кто и как их производил, но раздобыть можно было, и несравнимо дешевле альбомов — у нас были Климт, Сутин...

И другой музей — помню, как стою в полутьме перед Брейгелем — каток, красные шарфы...

«Старожилы» передавали вновь прибывшим важные знания — как не платить в метро — элементарно — купить билетик и не компостировать его — придёт контролёр, — сделать вид, что ничего не понимаешь и не знаешь, что билет надо пробить перед входом. Мы ходили пешком.

И ещё можно было звонить, привязав монетку к ниточке, как-то хитро опуская её в автомат. Впрочем, кому в Вене было звонить, звонки — это звонки в Ленинград, звонки в свою жизнь. В Рим мы уезжали ночным поездом, в plombированных вагонах, — как вождь мирового пролетариата.

В поезде «Вена-Рим» мы, едущие в Италию без виз эмигранты, заняли несколько вагонов. Это были старого образца вагоны, где в

сидячих купе друг против друга располагались кожаные сиденья, каждое на троих. Сейчас таких вагонов, кажется, и нет больше. Сиденья слегка раздвигались, смыкаясь друг с другом, и получался сплошной кожаный диван, где можно было спать вповалку. Ранним утром я проснулась — поезд стоял в Венеции — в темноте над платформой на синем прямоугольнике белыми буквами — Venezia. С тех пор у меня сердце сжимается от итальянских названий станций — белым по синему. И Италия иногда щемяще вспоминается — названием станции и капучино на вокзале.

До Рима нас не доездили — поезд остановился в чистом поле — и нас выгрузили под охраной автоматчиков — от кого охраняли? Такая была процедура. Рассадили по автобусам и повезли в Ладисполь. Каким образом Ладисполь — курортный городишко под Римом — стал центром русской эмиграции, я не знаю. Когда-то была Остия, потом Ладисполь. Там у многих римлян дачи, и это меня до сих пор удивляет — одно из крайне немногих виденных мной в Италии некрасивых мест. Городок без выражения, пляж с чёрным вулканическим песком. Зимой там было пусто, и, наверно, владельцы пляжных квартир были рады возможности хоть кому-то их сдать. В Остии, впрочем, тоже жили эмигранты — разделение «по происхождению» продолжалось — считалось, что в Остии живут одесситы, а в Ладисполе ленинградцы. В 1979 нас было в Риме одновременно 8000, и эти два города — Одесса и Ленинград — были представлены лучше других. На самом деле, в Ладисполе одесситы тоже жили, уж не знаю, как было с ленинградцами в Остии.

И привозили в Ладисполь всех — Хиас устраивал там первый приём — нас записывали на довольствие, а уже потом за деньгами ежемесячно и по прочим надобностям надо было ездить в Рим на улицу Regina Margherita. В каком-то из многочисленных читанных в Ленинграде эмигрантских писем кто-то рассказывал о том, как повстречал в баре в Риме свою бывшую жену. История казалась невероятной. Но в здании, где на втором, кажется, этаже располагался Хиас, внизу был бар — итальянский бар, где, в основном, пьют кофе...

Потом, приезжая в Рим, я много раз гуляла по этой улице, а три года назад мы рядом с ней на неделю сняли квартиру. Но я не отправилась на поиски здания, где был Хиас — не нашла бы — боюсь, что из всех мест, где я жила, с уверенностью нашла бы только первую квартиру — ту, где прожила до 18-ти с половиной лет — на Шестой линии у Малого, во втором дворе-колодце.

Привезли нас в гостиницу. Смутно помню стеклянную веранду, булку с маслом, апельсины в вазе на столе на фоне серого мартовского дня за окном, когда вдруг неожиданно вылезает и слепит солнце — прямо в глаза.

Неделю за нас платил Хиас — за гостиницу с обедом, завтраком и ужином, и за это время надо было найти квартиру и переехать. Естественно, денег не было на то, чтоб снять целую квартиру, надо было как-то кооперироваться. Мы поселились вместе с московским спортивным журналистом, уехавшим с родителями, потом он, кажется, редактировал в Америке «Новую газету», если, конечно, за давностью лет, я не перепутала чего-нибудь.

Одновременно с нами в Ладисполе оказалось несколько наших отдалённых ленинградских знакомых, приехавших до нас. У нас были их адреса, и мы сразу отправились их искать. Шли по улице, увидели высунувшуюся из окна старуху в платке — в лучших традициях неореалистических фильмов — Бегемот, всегда легко обращающийся с иностранными языками, составил в голове вопрос, начинающийся с *dove* — старуха выпростала из платка большое седоволосое ухо и недовольно и громко сказала: «Чаво?»

8000 человек — это очень много, и огромная их часть сгрудилась в маленьком городке, обменивалась новостями на площади у фонтана. Эмиграция — социальная школа. Жили мы в Ленинграде в своём кругу, еле замечая чужих — соседей по коммуналкам, по трамваю, и вдруг оказались среди этих вот чужих — на общих основаниях, на попечении благотворительных организаций, когда вдруг в этом незнакомом мире и без собственных средств к существованию люди оказывались детьми, и даже хулиганить начинали по-детски.

Мы-то думали, что уезжают инженеры, врачи, учёные, а тут оказалось, что и автомеханики, и директора овощебаз, за которыми ОБХСС гналось, и приёмщики пустых бутылок. И была страшная психологическая теснота — волей-неволей люди начинали общаться с теми, с кем в обычной ситуации и не познакомились бы. Такая вот психологическая теснота, неуверенность в завтрашнем дне, зависимость выплескивали на поверхность не лучшие человеческие свойства. На путях под платформой валялись окурки «Беломора» — ковром, русские злобно ругали опаздывающие поезда, итальянцы невозмутимо ждали, не поводя ушами. На магазинной стенке появилась надпись «ни варавать». По утрам русские ехали на огромный базар в Трастевере, который тогда называли «Italiano»

— продавать, в основном, фотоаппараты, «Зениты», например, и ещё почему-то балетные тапочки и детские игрушки. Самые бойкие громко кричали «tegalì per bambini» и махали в воздухе какими-нибудь матрёшками. Балетные тапочки были тогда ходким товаром, и мы тоже попросили прислать нам хоть парочку. Ничего-то на продажу мы с собой не привезли. Пару тапочек родители как-то передали, и мы продали её на этом самом рынке, только вот не помню, что мы сделали с деньгами — может быть, пиццу съели. На базар нужно было ехать рано, на утренних поездах, на которых итальянцы из Ладисполя ездили в Рим на работу. Русские забирались в вагоны и зажимали двери, чтоб больше никто не мог войти. Тогда всё это раздражало безмерно, и люди эти вызывали ярость и брезгливость, — сейчас, став сильно терпимей, да и просто умней — понимаю, что ничего, кроме жалости, они не заслуживали, — несчастные, вдруг ставшие детьми в этой новой жизни. Они верили любым слухам — тому, что в Италии нет скорой помощи и тому, что запрещены аборт. Они говорили, что в Риме грязней, чем на Крещатике. Они хотели, чтоб их называли «господами», испытывая омерзение к слову «товарищ». А я, наглая снобка, обращалась к ним: «уважаемые лица без гражданства».

Одесситы давали бесконечные советы, ленинградцы чванились, и не знаю, что было противней. Однажды в Риме на вокзале, стоя на площадке готовящегося к отходу поезда, я не ответила на вопли тётки, которая шла по платформе и орала в воздух: «Этот поезд в Ладисполь?». Я лопалась от стыда и злости — и молчала. Сейчас должно бы быть стыдно, но смешно.

Как-то старушка в писчебумажном магазине что-то попросила у продавщицы по-русски, та принесла требуемое, и старушка удовлетворённо повернулась к нам: «Посмотрите, если хотят, так понимают».

Итальянцы вокруг Ладисполя научились брать деньги за авто-стоп — как не возьмёшь, если настойчиво суют. Из эмигрантской среды возникли квартирные маклеры, которые брали деньги с новичков за наводки на квартиры.

Какие-то люди являлись в Хиас и лгали, что у них украли месячное пособие. Ходили слухи о том, что в Риме болтаются беглые из Израиля и воруют «визы обыкновенные выездные» у свежеприехавших — люди из Израиля ведь не могли получить статуса беженцев, следовательно, и в Америку въехать не могли. Только и оставалось, что тащить визы у новичков и переклеивать фотографии. А если

учесть, что Хиас работал в пару с ещё одной благотворительной организацией — Джойнтом (Хиас, кажется, содержал нас в Риме, а Джойнт покупал билеты в Америку), то чего удивляться, что одна старушка прославилась тем, что обидевшись на что-то в Хиасе, сообщила хиасовской ведущей: «я на вас буду жаловаться товарищу Джойнту».

И вот несмотря на всё это — Хиас ухитрился всех отправлять в страны назначения. Людей лечили, люди имели крышу над головой и вкусную еду — покупали на рынке печёнку и овощи, а потом и клубника пошла.

И несмотря на эту невыносимость свалившихся на голову невоспитанных детей, итальянцы не стали ни антисемитами, ни антирусскими. Мало того, было непонятно, как в детстве воспитывают обычных итальянцев, откуда брались водители автобусов, которые, чтоб показать дорогу, чуть не выпадали из своих автобусных окон, или пешеходы, провожающие тебя-дурака до места...

Мне очень грустно смотреть на итальянцев сейчас — чего не сделала русская эмиграция, кажется, добилась албанская и филиппинская. Той, казалось, природной естественной доброты и желания помочь стало куда меньше, ксенофобия появилась, и итальянцы, не имеющие большого опыта работы с иммигрантами, сегодняшнее движение народов, в которое они тоже оказались захвачены, психологически выносят не слишком хорошо.

И ещё одно несмотря — для Америки эта наша третья волна, кажется, оказалась самой выгодной эмиграцией из всех массовых — практически все стали успешно работать, многие создали рабочие места, и работающие люди своим вложением в экономику с лихвой покрыли деньги, затраченные на пенсии для стариков. И приёмщики бутылок, и автомеханики, и директора овощебаз, и учёные — все нашли применение. И когда оказалось, что воровать невыгодно, воровать перестали, открыли честные лавки и гаражи.

И даже многие врачи успешно прошли через весь ужас экзаменов.

Нам страшно повезло — через пару дней после приезда в Ладисполь, на первом интервью в Хиасе, мне предложили работу. Уезжала говорившая по-итальянски девочка, и меня взяли вместо неё переводчицей к врачу, доктору Рокки, который по договорённости с Джойнтом должен был принимать русских три часа в день — с утра до обеда. Он говорил на своём итальянском французском, я на своём безобразном русском французском, и как-то мы справлялись.

Пациентов оказалось очень много, и доктор стал принимать их не только по утрам, но и после обеда. По традиционному римскому презрению к неаполитанцам он говорил, что одесситы, как неаполитанцы, а ленинградцы, как римляне...

Заплатить мне должны были в самом конце, перед отъездом в Америку, и непонятно, сколько.

Дня через два после приезда в Ладисполь мы поехали в Рим — на автобусе, чтоб дешевле.

И — мир повернулся, захотелось только, чтоб длились и длились эти римские каникулы — чёрт с ней, с Америкой, — Рим, Рим, Рим — подольше бы не отправляли...

Одна моя знакомая уже в Америке рассказывала, как она приехала на автобусе в Рим из Ладисполя и, выйдя из него, прежде всего озаботилась тем, чтоб запомнить, как ей надо будет возвращаться. Над автобусной остановкой крупными буквами было написано «fermata», это важное слово она занесла в записную книжку. Вечером она в отчаянье разыскивала остановку под названием «остановка» — и всё-таки нашла!

Я помню не только день, но и минуту, когда я влюбилась в Рим — с первого взгляда и навсегда.

Мы вышли из автобуса и побежали — сначала очень целеустремлённо — на вокзал Термини, где с некоторым трудом отыскивали в углу одной из платформ сортир. А потом от Термини пошли бесцельно, наверно, даже без карты — не могли мы тогда на неё потратиться.

Первая остановка — Колизей. До него были, конечно, улицы, тогда незнакомые. Но вот это ощущение смысла и счастья, которое всегда у меня бывает, не каждую минуту в Риме, но в каждый туда приезд, возникло, когда мы стояли напротив Колизея, у заборчика, за которым обычные римские раскопки — какие-то лежащие останки колонн, куски мрамора — маки — вот эти мартовские маки на вылезших из земли древних рукотворных камнях — было счастье, подтверждение протяжённости жизни, маки, протянутые из вечности.

Колизей был тогда бесплатным. И трава росла между рядами каменных скамей. И, конечно же, бесконечные римские коты. Во всех развалинах. Можно было зайти, сесть на камни и слушать, как время просвистывает мимо, притворяясь, что остановилось и мурчит. Тарзаниссимо, который жил в Остии за шесть лет до нас, написал тогда стишок:

Замок Ангела стал музеем.
Первый век и двадцатый квити:
Стали кошками львы Колизея,
Итальянцами стали квириты.
Итальянцы бастуют лихо,
Кошкам носят еду старушки,
По музеям ржавеют тихо
Гладиаторские игрушки.
Все руины пристойно прибраны,
Всё на месте — и пицца, и пьятца...
Но когда засыпают римляне,
Львы по крышам уходят шляться.

1979-ый был давно, когда для людей внове ещё были достижения шестидесятых — повседневная свобода и раскованность — в поведении, в одежде, в миропонимании. Это было ещё до массового туризма, до сувенирных ларьков и скоплений народу в количествах, убивающих ощущение присутствия. В собор святого Петра не было очередей на вход, а Пьета — стояла голая, к ней можно было подойти и коснуться — без надетого на неё сейчас стеклянного ящика. Мир был менее коммерчески ориентирован не потому, что был лучше, а потому, что некому было ещё покупать сегодняшний туристский мусор.

В Рим мы ездили два раза в неделю — в субботу во второй половине дня и в воскресенье на целый день. Впрочем, это я ездила два раза в неделю, Бегемот ездил ежедневно, он с английским языком довольно быстро устроился переводчиком в Хиасе.

Я работала утром с девяти до полудня, а потом с трёх до восьми. Считалось, что до семи, но получалось до восьми, или даже до девяти. По субботам я работала только утром.

А в обеденный перерыв бродила по ветреным серым улицам, сидела на чёрном вулканическом песке у заколоченных раздевалок, глядела на серое море. Март был ветреный холодный. В нетопленном доме надевали по два свитера и толстые шерстяные носки. Южная ранняя нетопленная весна.

Когда ездили в Рим, брали с собой бутерброды. Продавались такие булочки, полые внутри, и туда в дырку можно было засовывать всякую снедь. Пировали — покупали одно на двоих мороженое. Жадными глазами смотрели на пиццу, на огонь в печках за окнами пиццерий. На треугольнички трамедзини с помидорами и баклажа-

нами. И разок за день пили волшебное прекрасное капучино, — стоя у прилавка, так было дешевле.

В подвале на Термини был переговорный пункт, откуда иногда звонили в Ленинград, безумно волнуясь, и три минуты сразу кончались.

Ходили на главпочтамт, куда нам писали до востребования.

И ходили, ходили по улицам. Корсо — тогда ещё не пешеходная, шумная, переполненная людьми и автобусами, площадь Колонны с огромной колонной, площадь со слоном... Около форума — церкви времён первохристиан. На площади Республики перед элегантными кафе под аркадами каждый субботний вечер — оркестр, сладкая музыка, грань слёз. Впервые увиденный фонтан Треви — огромные кони вздымаются. Сидишь — глядишь на эту падающую воду. А Навона — воплощение свободы — тогда ещё хиппишная площадь, где едят, спят, поют, площадь, которую я впервые увидела в Ленинграде на какой-то выставке фотографий — ровно такой и увидела, как в 79-ом ещё была, — перекрёсток мира. И на ней мы видели жуткую охоту на предполагаемых террористов, когда полицейские въехали на страшной скорости, увернувшись от бросившегося под колёса пуделя, и стали пинками поднимать лежавших людей. А когда кто-то из оказавшихся там в это время зевак-туристов поднял фотоаппарат, этот аппарат, выбитый из рук, тут же полетел на асфальт.

Очень страшно было переходить улицы. Пешеходных управляемых переходов практически не было, — надо было, помахивая рукой, прикрываясь ею от ревуших чудовищ, ступать с тротуара в смертельную реку. Ну, машины ладно, а ведь ещё и громадные несущиеся во всю прыть автобусы.

А у Тибра были совсем негородские набережные. Спустишься к воде, а там сорняки, заросли крапивы, тропинка. И ящерики на каменных стенах уходящих вверх, в город.

Очень тихо было в Трастевере — римском Затиберье. Врезалось — пустая утренняя площадь перед Санта Мария ди Трастевере, залитая солнцем, уже явно май, тепло, и единственное кафе под белыми зонтиками, где сидит человек с газетой и пьёт кофе.

Еду надо было покупать на *mercato rotondo* — на круглом рынке. Там было дешевле всего. Набор продуктов довольно определённый — печёнка, овощи. Мы ещё совсем не знали не русской еды — многие покупали мелкие зелёные кабачки, считая, что это огурцы, и удивлялись их «неправильному» вкусу в салате. Не умели варить макароны, помня русские серые и гадкие, уваренные до тряпичности,

пожимали плечами по поводу итальянской любви к макаронным изделиям. А ещё со страшной завистью смотрели на ярко-красную жидкость, которую сидевшие за уличными столиками люди тянули из стаканов, украшенных лимонными дольками. Когда мы её попробовали, уже, кажется, в Америке, она показалась отвратительно горько-сладкой — теперь это мой любимый аперитив — кампари, единственный аперитив, который в доме почти всегда в наличии.

Из итальянских слов первые, которые все выучивали — это, конечно же «quanto costa?» — сколько стоит, и «basta cosi» — хватит. А ещё на рынке в ушах звенело — *tre chili una mille* — апельсины, огромные, их швыряют на весы — сколько там их на килограмм. Потом помидоры — *tre chili una mille!* — силлыми от криков головами. Бегемот, у которого вообще на очень высоком уровне способности схватывать язык, выучил сильно больше. Из-за него я не узнала практически ничего — не было нужно, Бегемот объяснялся. Кроме первого раза, мы больше не ездили из Ладисполя на автобусе, а обзавелись выгодными поездными карточками. В результате мы узнали все римские вокзалы — мы, в основном, ходили пешком, но если уж надо было добраться куда-нибудь далеко, или очень быстро, перемещались на поезде, благо вокзалы в Риме в разных концах города.

Однажды Бегемот ухитрился оставить в поезде полиэтиленовый пакет с овощами. Спohватился он практически тут же, но поезд уже ушёл.

В этих неприятных обстоятельствах (шутка ли — потеря ценной еды!) из Бегемота полился почти правильный итальянский. Он панически побежал в справочное бюро и произнёс *ho lasciato in treno una busta con verdura*, — дяденька в фуражке и при исполнении сказал, что искать нашу бусту надо на конечной станции в *pulizia*. Бегемот засомневался, переспросил, действительно ли *pulizia* (служба уборки — от слова чистить), а не *polizia*, поехал на конечную, нашёл эту самую пулицию, и там ему торжественно вручили наши овощи.

Бегемотная работа заключалась в том, чтоб переводить беседы американских работников Хиаса с эмигрантами. В Хиасе заполняли документы, которые требовались для въезда в принимающую страну — прежде всего нужно было письменно объяснить, почему мы беженцы. Это была чистая формальность. Картер уже договорился с Брежневым о советских евреях и невероятно увеличил квоту на их приём. Наверно, мы в каком-то смысле отвечали международному определению беженцев — в конце концов, после того, как в ОВИРе

за огромную для нас сумму нам выдавали визы выездные обыкновенные, нас пихали коленом под зад, веля убраться через три недели — без паспортов, без денег и почти без имущества. Кроме трёхмесячной австрийской визы и 90 долларов на человека, у нас не было ничего. Но, конечно, про настоящих беженцев мы узнали чуть позже. Вьетнамцы, бежавшие на лодках через океан, тонувшие пачками. Племя хмонгов, жившее между Лаосом и Камбоджей под постоянным обстрелом...

С настоящими беженцами обращались куда хуже, чем с нами, их селили в лагеря, где они долго ждали решения своей судьбы. Кормили их на месте, не выпускали...

Нас, можно сказать, принимали по-королевски, да ещё и римские каникулы подарили.

Была категория людей, которых американцы изредка не брали, — бывшие коммунисты. Они должны были объяснить, почему вступили в партию. Беспроигрышным для американцев оправданием были карьерные соображения, а вот если человек писал, что вступил когда-то по убеждениям, то могли и не пустить. Ещё в Америку не впускали больных туберкулёзом или сифилисом, которых должны были выявить на медосмотре. Впрочем, реакцию Вассермана, кажется, делали.

К моему доктору Рокки шла толпа — больных и здоровых. Одесская, намазанная, средних лет тётяшка возмущённо объясняла, что в Одессе доктор выписывал ей лосьон. И другой одессит. Он вёз умиравшую от рака жену. До сих пор помню его — черноглазый, машущий руками человек. Чуть не при каждой встрече он говорил: «вы таки знаете французский, так почему не едете в Канаду». Тогда это раздражало безумно...

Встречались мужики, которые явно посещали дешёвых блядей у Термини и обзаводились всякой венерической мелкой дрянью. Как же они страстно объясняли доктору, что они ни-ни, не то что с блядами, а и с женой ни-ни. Некоторые беременные женщины не хотели верить, что беременны, пытались убедить доктора, что у них просто задержка, а доктор улыбался и говорил, что римское солнце способствует.

Австралия принимала людей с рабочими профессиями и почему-то не хотела брать толстых. Поскольку виз туда ждали дольше всего — минимум полгода, у желающих было время похудеть, и они ходили к доктору за каким-нибудь волшебным худильным снадобьем. А однажды какому-то толстяку, который в Австра-

лию не собирался, доктор сказал, что худеть надо, иначе женщины любить не будут, и потребовал, чтоб я перевела.

Мужик надулся и торжественно произнёс, что за его деньги его всякая полюбит, и тоже потребовал перевода.

Так и бежала эта римско-ладиспольская жизнь, из которой большинству хотелось выбраться как можно скорей, а по нам — длилась бы, да длилась...

Вчера в два часа ночи я подошла к окну и увидела снег — он падал на асфальт, на крыши неподвижных машин, на тополь с крепко притороченными зелёными листьями, — безнадёжные хлопья под фонарём — в тишине...

Когда-то в Новой Англии снег пошёл в апреле — по белому тротуару медленно ехал велосипедист — уже светло, уже весна — снег — весёлая несурaziца.

А этот ноябрьский снег — опускался на землю неотвратимостью зимы, тьмой, временем, когда в автобусе пахло мокрыми шубами, у Гостиного стояли огромные ёлки, а бабушка шила наряд снегурочки большой целлулоидной кукле. Временем, когда все герои книжек были старше меня, а родители моложе, чем я сейчас.

А сейчас от ноября осталось несколько коротких дней — коротких дней — длинных тёмных вечеров.

Уже горят перетянутые через улицы рождественские лампочки, несуразные в тёплую осень с бледным клевером, с цветущей ежевикой.

Вчера мы опять ездили за грибами — опять туда же — мимо мохнатых коров, мимо собачьих шерстяных телят — возили приятеля к моховикам в вереске, их собираешь — как помидоры с грядки на ферме. Эта осень просвечена насквозь. Бьёт в сощуренные без тёмных очков глаза. В капли на мокрой зелёной траве. Глядишь на просвет — в витраж, в горящие рыжим сухие папоротники, в лимонную прозрачность берёз.

Вспучилась земля и через пахучие устилающие её листья вдруг прорвались грибы. Полчища моховиков, выстроенные по ранжиру, беспорядочные сборища маслят. Изредка белые — одинокие красавцы-философы. Мухоморы, с которых кое-где отвалились когда-то аккуратно проставленные точечки. Только недавно их не было, и вот они выскочили, пробились через мох и листья. Если лешему нужно утянуть к себе — проще всего грибами. Моховики и маслята мы с Бегемотом кидали в мешок приятелю, а белые жадничали и оставляли себе — всё-таки каждый гриб — личность, с

белым уважительно встречаешься. Стоит себе тихо — шапка то нахлобучена, то и вовсе набекрень.

Листья, листья, нет дорожек, одни листья, поваленное дерево, мимо которого мы сегодня с Катей шли и думали — что в листьях можно спрятаться, укрыться, затаиться — замереть — и пусть нас засыпает. У Кати за ухом уже каштановый лист.

А ещё вчера выросли рыжики — маленькие крепкие. Только нам попались всего четверо.

Может, через неделю их станет больше — я знаю — сначала маслята, потом рыжики, а уж в какие месяцы, — неважно.

Прошное застыло, отлилось в форму, уже не повернётся каким-нибудь другим боком — можешь прокрутить — старое ли кино, или просто картинки из старинного календаря.

А мы ли были в нём? Мы ли в нём были? Жили-были.

А что связывает меня сегодняшнюю и меня когдатошнюю? Картинки, старое кино.

28 школа, где по вечерам учились собаки. Я узнала об этом, когда откуда-то возвращалась с мамой за руку — в зимней темноте — на маме вязаный берет и чёрная шуба. Какого берет цвета? Вот вижу, а назвать не могу. Сероватый, голубоватый? Прекрасная юная мама, и мы с Машкой — мымы, дрынбы.

Наверно, на месте двухэтажный дом буквой П, в котором мы жили во Флориде, в Гэйнсвиле. Квартирный комплекс, там жили, в основном, студенты и собаки, потому что очень трудно было найти такой, куда пускали со зверями. Бассейн, — сначала мы в нём плавали почти каждый вечер, потом надоело. А однажды на газоне, где мы рвали маслята и рыжиков, я нашла змеиную шкуру — скорей всего, её скинула небольшая гремучка.

Картинки, засушенный гербарий, окно, куда можно заглянуть, — как книгу открыть.

И понять, что в первом васькином стихотворении сказана чистая правда — ну да — «где начало, где конец» точно не разберёшь — и не надо.

И кажется, что этот мир с пузырями в ручье, с осенним бледным клевером, с цветущим дроком силится сказать нам что-то очень важное.

Что всё повторяется, что нам, невечным, ходящим по краю пропасти, остаётся только глядеть во все глаза — и запоминать, и утешаться, и стараться радоваться... Вот и если бы не *i shmael*, не попадала б я на выставки — потому что в будни я не успеваю, а в

викенды мне Катю жалко, да и самой в лес хочется больше, чем в музей. В результате половину я пропускаю, что глупо и обидно — на выставках не только отличные картины, но ещё и уйму всякой информации на стенках сообщают. Вот приезжал бы *i_shmael* в Париж почаще, и я б почаще в музеи ходила.

В субботу мы были на золотом веке голландской живописи. Золотой их век — 17-ый — потому что Рембрандт и Вермеер.

Честно говоря, Рембрандта я не люблю — я понимаю, что он великий, но мне на его работы часто смотреть неприятно. Началось с ужасных пяток эрмитажных. Однако помню я их до деталей. На этой выставке меня поразили один рембрандтовский портрет — сын Титус в монашеском одеянии — коричневый капюшон, тёплый живой взгляд опущенных глаз. Я была в Голландии всего дважды, хотя и очень она близко. Так уж случилось. Я не влюбилась в Амстердам, мне неуютно на плоской тарелке, накрытой небом, в которое иногда врывается дерево или мельница. Но когда едешь в сумерках, и возникает вдруг ширококронное дерево под этим серым небом, — немедленный укол узнавания — знакомый с детства голландский пейзаж. Так и на этой выставке — для меня важнее всего был прозрачный светлый небесный зимний цвет, деревья, и люди в этом пейзаже, занятые какими-то своими делами, гармонично в него включённые.

И вообще, наверно, самое сильно трогающее в 17-ом голландском веке — человечность их повседневности — в пейзаже ли, в курятнике, в комнате.

И ещё одна выставка, которую я не пропустила, благодаря *i_shmael* — фовисты и экспрессионисты в музее Мармоттан.

Кстати, в самом музее я к позору моему ни разу не была. Это дом Моне — дворец Моне в самом буржуазном парижском районе — в 16-ом. Как-то я никогда не задумывалась о том, что Моне в конце своей длинной жизни был весьма успешным художником.

В пасмурное тёплое очень осеннее воскресенье на маленькой улице было совсем тихо — и очень мало народу. Даже странно, если учесть, что обычно в Париже очереди на все выставки.

Выставка славная, но музей оказался ещё лучше. Я ведь не очень люблю экспрессионистов, а фовистов на этой выставке мало. Матисса любимого нет. Экспрессионисты для меня чаще всего вычурны, литературны и лишены, может быть, главного для меня в живописи — изумления перед тем, как же мир прекрасен. Удивительным образом даже самый страшный Ван-Гог — ночное кафе.

например, — в полной мере даёт это ощущение волшебства и красоты. Ну, а к примеру, Отто Дикс, — уж никак нет. Впрочем, Отто Дикса я невзлюбила очень давно — ещё, когда папа из командировки в ГДР привёз его альбом — я не люблю ни сатиры, ни карикатур. Но вот удивительно — после этой выставки не нравящийся мне Отто Дикс как-то вошёл в голову — помню. И раздражающий Бекман тоже. А порадовал меня мостик над светящейся водой у Нольде и главное — «женщины на улице» Кирхнера — такая в них лёгкая изломанность рубежа веков — прошлого и позапрошлого — такой улыбающийся налёт декадентства, такая решительность походки и взглядов, и руки в карманах, и наклон головы, и главное — такая радостная жёлто-сине-зелёность — не оторваться.

Ну, а сам музей — что говорить — там пруды, кувшинки, мостики, заходящее в море солнце — такой знакомый и родной Моне. Мне очень близка эта его вечная зачарованность всё тем же самым, изменчивость и постоянство — прекрасно понимаю, что можно бесконечно писать, выходя в собственный сад, возвращаясь всё к тому же морю, и чувствовать себя при этом очень комфортно — закат, закат, и ещё закат, и зелёная под мостиком вода.

i_shmael сказал, что у меня точкой отсчёта продолжает оставаться Эрмитаж — конечно, это не вполне справедливо — я много кого полюбила из в детстве вовсе не виданных, даже в альбомах. И любимый музей — несомненно Уфицци, а потом Орсе вместе с Оранжереей, но никак не Лувр, несмотря на прекрасный там Вавилон, настолько уступающий Эрмитажу. И Моне — все эти мостики и пруды прямиком отправляют к тому первому, напротив которого можно было сидеть на диванчике на третьем этаже и глядеть то на пруд, то на на Дворцовую площадь за окном.

И ещё в этом музее, кроме Моне, разные его современники — всех понемногу — Берта Моризо, Ренуар, Писарро, Мане и удивительный Кайбот — прозрачно-серый дождливый парижский. Когда-то на большой выставке импрессионистов в Эрмитаже он поразил меня объёмным одновременно твёрдым и невесомым воздухом в «Паркетчиках».

И дождливый зонтичный Париж, булыжники, фонарь цветком на длинном стебле — волошинская «серая роза» — может быть, самый парижский Париж из всех мной виденных.

Странная штука — пространство. Не так уж мало его приходится преодолевать каждый день. Не работают учёные над диванами-трансляторами, и даже над диванами-катамаранами не работают

— чтоб по волнам по небу из окна и под парусом, да и печки ходячие перевелись, что совсем уж обидно.

Только зелёные огоньки google-talk вроде бы убеждают, что странства нет...

А на противоположной стороне за стеклянными дверями крутились барабаны стиральных машин в общественной стиралке. Почему-то вечером при электрическом свете эти крутящиеся барабаны вызывают у меня тревожную тоску. Сродни чесотке из-за крошек под шкурой у того носорога, который съел чужой пирог. Люди, ждущие чтоб постиралось, — как люди в том самом ван-гоговском ночном кафе...

Вроде как самое трудное — знать, что не только ты — центр своего мира, но и сосед — центр своего соседского.

Тени в комнате — это что-то вроде пылинки дальних стран на ноже карманном, хоть я Блока и не люблю.

И не будь на свете всё давно уже сказано, можно было бы поговорить про то, как плывёт наш дом кораблём за чайками, кинуть из окна пригоршню крошек и увидеть волны, берег в Бретани в департаменте Финистер — в конце Земли.

Свет днём будто просочился через несколько слоёв серой тряпки, тихий разлитый, готовый вот-вот уйти, когда его медленно сотрут подступающие целый день сумерки.

Ни ветерка, и даже холод не пробирающий, просто тихо стоял, стеклянный, как сохранившиеся грибы — сыроежки, маслёнок, мухомор, моховик — звонкие, деревянные. И поднесённые к носу остро пахли. И кислый запах свежих срубов был тоже неподвижен. Быстро шли мы, прыгали по веткам синицы, малиновки. И даже высоко где-то громко завтракал невидимый дятел.

Мороженые листья скрипели под ногами. И поля — одинокие сжимающие душу поля — комки подмороженной глины до леса на горизонте, или до другого поля — остро-зелёного с инеем на концах травы.

Жить бы неделю в одной деревенской гостинице с камином, неделю в другой, доехать до моря, писать роман. Можно бы и просто писать роман — в деревенском доме — чтоб каждый день выходить на крыльцо, гулять по размокшей или подмороженной глинистой дороге, есть на холоду яблоки, мандарины. А там и весна настанет, к февралю нужно доехать до Ниццы — до мимозовых лесов. А где-нибудь в Бретани застать Рождество — с ветром, с какой-нибудь

наряженной ёлкой у моря, и небыющиеся облупленные серебряные шары постукивают друг о друга боками.

Только вот романы все давно написаны...

ДЕКАБРЬ



Из i_shmael

ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ

На гиппо на поле на дроме
двойной тормозит гандикап.
Плывёт на ледовом пароме,
не люб и поруган, декабрь.
Нно-мёртвая скачет лошадка,
туман проникает меж стен.
Не валко, но вымерзло, шатко,
как будто поднято с колен.

Что месяц — то пятиугольник,
слагаются в год-додекаэдр.
Последний заступник, угодник —
не женского рода — декабрь.
От шеек напуганных уток
и до обречённой свиньи

лёд встал навсегда, первопутук
лежит без пятна полыньи.

До города — выйти, и вот он,
да между — наделы дехкан.
Лампадкою перед кивотом
обманно мерцает декабрь.
А сам он на самом на деле
на дело идёт с кистенём
и в путях седой канители
дверной закрывает проём

Уже летают над улицами разноцветные бабочки и птицы, бегают по деревьям лампочки — стремительно, едва касаясь ветвей.

«Птичка польку танцевала на лужайке в ранний час, хвост налево, хвост направо — это полька Карабас»

По утрам в расплывающемся холодном тумане, по вечерам — в ползущей тьме.

Греют, обволакивают, напоминают о младенце в вертепе, которому холодно под ледяным степным ветром, но вол тут как тут — дышит тёплым огромным носом, и о грязных лужах на магазинном полу, где толкуются цари и верблюды в очереди за халвой.

А мне ещё — о красных ботиночках, которые очень почему-то хотелось иметь, и 31 декабря какого-нибудь шестидесятого года я извлекла их из расшитого дождём мешка из синей марли.

О всех гирляндах, мандаринах, марципанах, о горящих окошках и стеклянных шарах.

Огорчений в той жизни было больше, а бедствий не было совсем — безоблачное отсутствие потерь и вечная жизнь в запасе, год тянулся почти бесконечно и состоял по большей части в ожидании — каникул, праздников, разных радостей.

Привязываешься к контексту собственной жизни и всё равно не веришь в смерть. И сейчас, когда подходишь вечером к окну, глядишь на все эти электрические новогодние знаки, пробегаешь по улице, внюхиваешься в запах ёлок, стоящих на тротуарах у цветочных магазинов, в запах устриц на лотках, бежишь и бормочешь под нос — ну, пусть ещё год-два-восемь-десять-ещё-ещё счастливых лет — не искушать судьбу — не заглядывать в комнату синей бороды, снять стрелки с часов и не смотреть на старые фотографии...

Разворачивается дорога, идёт вверх на холм, и земля в самом деле делается круглой, и кружатся листья, снежинки, лепестки,

вино-водочные этикетки в фильме Митьков под нежную музыку, — торопясь, наступая друг другу на пятки, и вдруг остановка, — и волны накатываются — да, равномерно, неотвратно. А сюжет где? Где сюжет?

«Из дома вышел человек с дубинкой и мешком и в дальний путь, и в дальний путь отправился пешком».

И матовые гиацинты в горшках — я лиловые люблю, и лампочки поперёк улиц и на деревьях, и картинки на стёклах кафе, и красный коврик перед цветочным магазином.

Время постепенно закрывает двери — возраст, как годовыми кольцами на деревьях, определяется закрытыми дверями — этим не станешь и тем, и не попробуешь того, этого.

Мы сидели на собрании со студентами, а за огромными окнами аудитории валил нехолодный снег. Сначала падали редкие тающие в воздухе одинокие небольшие хлопья, постепенно они становились всё крупней, — наверно, слипались на лету. Он падал тихо, заполняя всё пространство между небом и землёй. За окном сначала был зелёный тополь, на который падал снег, а потом только этот неотвратимый бесшумный снег.

Собрание кончилось, я побежала в офис, на забытом на столе мобильнике — сообщение от Бегемота — паническое — езжай немедленно домой, автобусы вряд ли ходят.

Конечно, с работы я ушла не сразу — одно, другое, третье, но всё-таки к полпятому убежала. Без приключений добралась до нашей станции, наш Рер ходил вполне прилично, хоть я и боялась, что как выскочит из-под земли на поверхность, так и застрянет под снежной стеной.

Когда я приехала, снегопад прекратился. Было утешительно тепло, у входа в вокзальчик лужи, и отчаянно пахла огромная ещё не украшенная ёлка в кадке — я в который раз подумала — всё-таки в тёплой комнате не умеют ёлки так пахнуть. Потом ждала Бегемота, который вышел из дому не сразу, а только когда я ему подтвердила, что села в неотцепленный вагон, я всё стояла под ёлкой, нюхала, думала, что для меня-зимоненавистницы снег — мягкий, укутывающий зелёную траву, чтоб растаять завтра, и чтоб трава зелёней стала на газонах — ещё не беда, вот мороз и солнце, — это царство Снежной королевы, леденящее внутренности, — побездёжней будет.

И мы пошли пешком через лес. Не одни мы. По лесу брёл народ — кто на станцию, кто со станции, а кто с собаками гулял. Кто-то

вёз чемодан. Люди смеялись, здоровались, весело звонили по мобильникам, — ощущение было, будто вдруг среди недели дали неожиданный праздник — вечером в лесу. Нет, не толпа пёрла, просто то кто-то шёл навстречу, то слышались сзади голоса — как в майское воскресенье. А иногда вдруг на несколько минут совсем никого — чёрный ручей — живой, междузаваленных снегом берегов, белые сверкающие ветки, уходящие вверх, следы на тропинке. И самое удивительное — в этом вечернем лесу было светло — некое рассеянное тихое сиянье, непонятно откуда взявшееся, то ли дальний город нас освещал, отражаясь...

Вышли на тёмную улицу с фонарями — зимняя ночь, которая начинается в 6 вечера, стояла, — тёмный электрический город, и светел лес...

И вообще теперь я знаю, что ночью, увязая в снегу, вверх со станции — всего-то 40 минут пешком, да ещё с рюкзаком, в котором толстенная книжка и бутылка клюквенного сока. Нам не страшен серый волк!

Через снега до нас долетели Галка со Славкой. Они должны были прилететь с пересадкой в Лондоне — и самое невероятное рождественское — действительно прилетели, без опоздания — в метель — Лондон не принимал, их самолёт наворачивал круги, раздумывая, где бы сесть, — и решил садиться в Париже. И они даже получили в аэропорту багаж, что уж и вовсе рождественское чудо. А вчера мы под снегом с Ишмаэлем, Славкой, Бегемотом и Катей бежали по лесу. Потом со Славкой отводили Ишмаэля на станцию, возвращались по темнеющему лесу, где таяло всё, и по улицам текли ручьи, и человек недалеко от станции лопатой чистил узкую кривую улицу перед колёсами машины, и тающий наст с приятным скрипом отделялся от асфальта. Но ночью опять падало, падало. И я поленилась идти пешком на станцию, чтоб ехать на работу, и мы с Галкой, Славкой и Катей опять ушли в лес, а потом пили вино в кафе в Кламаре, и какая-то девочка пришла знакомиться с Катей и спросила, сколько ей лет, и услышав, что 8, радостно сообщила, что они с Катей ровесницы. А потом с улицы вошли мужики со светящимися кружками пива, и один из них тоже долго разговаривал с Катей. И прибежал к Кате живущий в кафе пёс, и мы выпили ещё по бокалу и пошли домой — через лес. И опять пришли в наползающих сумерках, и опять тает, и зелёная трава, и прогноз обещает сплошной плюс... И автобусы надёжно фыркают на улицах.

Как же радостно назавтра таяло, хлюпала вода, стекала с крыши небольшой галереи, которая идёт у нас через весь кампус, чтоб под дождём под ней бегать. И трава подснежная хрустящая зелёная, и самое удивительное — нисколько не пострадали розы — две здоровенные красные розы на кусте над остатками снега. И, как злая Бастинда, тает слеппенная студентами снежная бабища — ничего почти и не осталось — впрочем, не баба вовсе — снежный мужичок — *bonhomme de neige* — вот и переводи на французский «и останется Снежная баба вдовой, будьте, дети, добры и внимательны к женщине».

И если б на дворе был февраль, то можно было б сказать — всё — зиме конец, и расцвели бы вишни — воздух сегодня лёгкий, обещающий. Но мы только бежим к Рождеству — и зимы этой ещё — месяца на два — это если повезёт, а то и на три, если будет нам злая судьба. А Рождество совсем за углом, и каждый год — недоумение — неужели вот так — раз — и отъели от года здоровенный кусок в этой бегущей совсем не скучной повседневности. Раз, два, три. Замри-умри-воскресни.

Что бы делали мы без Рождества в это самое тёмное время — говорю я каждый год. И хорошо, что Рождество начинается в декабре, в начале. Вот уже у нас в кампусе ёлочку поставили, и я уже глухо постукала по шарикам, иголки погрызла — а если каждый отгрызёт — лысая ёлочка останется — но каждый не будет.

И можно бы совсем забыть про Рождество, тем более в тёплую зиму, которая и не зима вовсе — с хлюпающими под ногами мокрыми листьями, с бледноватыми лиловыми ирисами у выхода из Тюильри. И кажется, — какое нафиг Рождество — подарков и не придумаешь толком, и сентябрь был только вчера, и время несётся галопом, как не хватай его под уздцы. А потом пройдёшь по дорожке по краю леса в накатывающих вкрадчиво сумерках, и через улицу в окне на высоком этаже бегают разноцветные лампочки, и остановишься, и вдохнёшь мокрый туман, и вспомнишь, как год назад тут во тьме и снегу уже стоял. И вдыхал холод в сумерках.

Бредёшь через время и через улицы.

А когда возвращаешься в наступающей темноте по пригородной дорожке — в деревне на центральной площади церковь, перед ней ёлка — наверху звезда, огни стекают от верхушки. И белые круглые фонари, свисающие над улицей, похожи на абажуры. В Рождество главные герои — вол и осёл — их тёплое дыханье. Из времён, когда звери ещё говорили. Дышат теплом, пар в воздухе, пахнет сеном.

Огромная синяя ёлочная звезда сияет над головой, ночные заморозки. И бегают, пронзая зиму, цветные огоньки в окнах. И мы — центры собственных вечностей, и сороки на ветках, и собака, зарывшая в листья нос — отражаем, отражаемся — в прудах, в дружественных зеркалах (а злые — спрячем, разобьём), в файлах, засунутых куда-то за пазуху компу, в наглом котинном взгляде, и собачий нос утыкается мокрый куда-то в самое нутро, и бежим дальше, — за этот вечер на лесной опушке, освещённой ёлочными лампочками...

Ночами, начинающимися в пять вечера, по окнам ползут ёлочные огни — подмигивают, щемят душу в этой, как каждый год, наступившей зиме.

Окна с ползущими огнями — памятью об обещанье — каникул, расшитого дед-морозового мешка на лестничном подоконнике у открытого в ледяную ночь 31 декабря окна, или под открытым в ночь окном в нашем кривобоком просторном коммунальном сортире.

На бегу, в несуществующем — сейчас — между прошлым и будущим, — проверяешь языком — царапает? — красно-жёлтый детский фырчащий автобус, зелёные огни сорокового трамвая, бледно-зелёный виноград в мёртвом искусственном зимнем витринном свете, месишь грязь в снежной луже у овощного магазина на углу. А жизнь была вечной, потому что все были живые, никто ещё не умер и не умирал, не было пронзительно жалко собственную душу, от которой всю жизнь отколупываются кусочки, потом дырки зарастают, заполняются и опять открываются — с неровными краями — во сне иногда, —или приносит с ветром, с запахом ёлки, коньяка, брезентовой палатки, яблочек...

Перечитываешь, перемалываешь, отматываешь, пересматриваешь... Бежишь...

Обещания — сбылись-не сбылись — как шагнуть от того раскрытого окошка к нынешним пустым декабрьским полям по дороге за творогом на ферму, к чёрным яблоневым стволам, к лесу, зеленеющему ежевикой, желтеющему необлетелыми мелкими берёзками, ржавеющему буковыми листьями под ногами.

Не сбылось, но и не хотелось, глупость-то какая, — стоит недалеко от нашего дома старый экспедиционный джип, отъездивший своё по Африке, и вот вчера промелькнули в интернете картинки про тётеньку, живущую в Африке в заповеднике, — она усыновила маленького носорожика — теперь ему уже пять лет — он у стола как

собака попрошайничает — ну, и почему мне такое не сбылось — а потому что когда-то и не хотелось, вот ведь как.

У нас возле школы стоял каменный сарайчик, мы звали его — Диди — и считали, что это директорская кухня — заглядывали в подвальные окна, но видно ничего не было, а стоило кому-нибудь появиться на пороге, как мы в ужасе прятались за углом.

А ещё был чердак, куда изредка можно было проникнуть через случайно оставленную открытой дверь. Там в углах шевелились тени. Была чёрная лаковая китайская ваза с драконами — при родителях она мирно стояла на рояле. Но как-то, когда их не было, а я читала китайские сказки во второй нашей комнате, я поняла, что выйти в коридор и пойти пописать совсем невозможно — ваза стережёт за дверью. А ещё Карлик-нос с травкой утешение желудка, уж не говоря о чёрных и красных руках, которые поднимаются по лестнице — и вот уже на четвёртом этаже...

Папа говорил, что совсем когда-то давно я требовала, чтоб он мне твёрдо сказал — «разбойников не бывает» — а он, злой человек, отказывался подтвердить столь нужное мне для спокойствия обстоятельство. Впрочем, про это я знаю только с папиных слов.

Когда идёшь по плиточному тротуару, важно не наступать на щели, чёрного и белого не говорите и не думайте об обезьяне — например, о гиббоне, задумчиво протянувшем руку, чтоб ему в неё вложили вкусенькое.

Синицы прыгают возле чавкающей глинистой лужи, сороки на лету вытягивают хвосты, пожёвывают сено рыжие мохнатые козовы возле леса Рамбуйе, — выдыхают душистое тепло.

Плкнет-поцелует-сбылось-не сбылось- и всегда, сколько ни живи-радуйся — мало-мало-мало.

Хорошо играть с мирозданием в игры, — наверно, те, у кого получается играть с ним всю жизнь — им-то и удаётся чего-то в науке или в искусстве...

Мы с Альбиром попали на выставку Сезанна. Случайно. Так, как и надо бы попадать на выставки. Только никогда не получается, потому что обычно в Париже на всех выставках дикие толпы, очереди. А тут — не было. Народу было много, но как-то правильно много — минут пять постояли у кассы, чтоб билеты купить, и к картинам пошли. Не знаю уж почему нам так повезло — может, дело в первом каникулярном викенде, в том, что изрядно разъехались парижане, в солнечном дне, в скромном названии — «Сезанн и Париж» — мы вышли из Люксембургского сада прямо ко входу.

Сезанн, конечно, в мировосприятии совсем не Париж — Экс-ан-Прованс, гора Сент-Виктуар, тамошние южные люди. Когда едешь по автострате мимо Экса, появляется щит с надписью «Пейзажи Сезанна» — и даже с трёхполосной дороги видишь — вот они, кривые синие сосны — лезут вверх по склону.

Но и в Париже Сезанн провёл совсем не так мало времени. И в Фонтенбло камни писал, и нагроможденья парижских крыш, а из-за них вдалеке торчит Эйфелева башня, слегка дрожащая, преломлённая в неярком облачном свете. И пятна грязноватого снега на подмёрзшей земле, и голые тополя со своей всегдашней готовностью пустить побеги, и церковный шпиль, отражённый в Сене. Весомые облака, вылепленные, тяжеловатые. Кусты, крыши и шпиль — как ещё небо с землёй соединишь.

На стене карта — места, где Сезанн бывал в Иль-де-Франсе — городки на Сене, на Уазе. К Моне в гости в Живерни ездил.

Портреты. Жена в красном кресле сидит, сжав руки и губы, напряжённая. Большой бородатый человек нежно глядит на маленькую кошку у себя на коленях.

Натюрморты. Лимон бледно освещает холст. Кружка белая, почти щербатая, почти кривая, будто руки мяли её, сжимали. И хочется молока налить. Тяжёлый батон улёгся на стол. И луковица — кособокая, невзрачная, крепкая, и жестяной кувшин, — глядя на него слышишь, как плюхает в нём молоко, а может, вода из колодца.

Выходишь — с ощущением покоя, как из лесу — всё в порядке, и как дверь у Митрофанушки — та, что прилагательная, потому что к месту приложена, а не на чердаке валяется, так и тут — лимон, луковица, кувшин, крыши, шпиль и человеческий взгляд — всё на месте, всё живёт.

Чудесный Рауль Дюфи в музее современного искусства.

Сначала я его узнала — милого мне, но не удивительного. Нормандия — море, городки, пляжи, флаги полощутся — ветер, солнце не южное, не слепящее, песок на зубах — смотришь — и рот расплывается до ушей. Славные картины, на которые очень приятно смотреть. Я была уверена, что это и есть Дюфи. А оказалось, что он очень разный. Я даже не знала, что он прожил длинную жизнь. И когда смотришь на его картины, становится очевидно, что счастливую. Что было ему легко и радостно рисовать, пробовать разные стили, — примерять чужие одежды. *i_shmael* вот считает, что ему помог очень ранний успех — не то чтоб огромный, но позволивший жить и заниматься своим делом.

То он похож на Сезанна, то на Брака, то на Матисса, то даже на Ван-Гога. И удивительным образом не получается раздражающего подражания — просто потому, что все работы Дюфи иначе интонационно окрашены, чем картины тех, на кого он опирается. То есть он берёт приёмы — с миру по нитке, а интонационно получается Дюфи — и в матиссовских комнатах с открытыми окнами, и в браковских музыкальных инструментах, и в стволах деревьев, пришедших от Сезанна. А интонация у него — лёгкая, слегка ироническая, — летящая улыбка.

Ну, и пару слов о выставке Сутина в «Оранжеее».

Организована она, в отличие от двух других виденных мной его выставок, тематически: пейзажи отделены от портретов. И из-за этой раздельности я впервые осознала, что между портретами и пейзажами у Сутина фантастическая эмоциональная разница: на пейзажах радостный живой мир, у которого за настоящим проглядывает будущее — бегут в горку дома, по дорогам идёшь и хочешь зайти за поворот, кривые крепкие деревья хлопают глазами и жестикулируют. А портреты мёртвые страшные. Ребёнок с лицом старика, девушка-маска. Портреты — без будущего, застывшие, умершие, или корчащиеся в муках сдирающей кожу смерти. В домах гораздо больше человеческого, чем в людях. У домов хитрые весёлые глаза, на домах шапки набекрень. Да и деревья сердятся, смеются, живут. А люди умерли, погасли с выражением мук на лице, или ещё корчатся в аду.

Пожалуй, ни у кого больше я такого не встречала — совершенно очеловеченный мир без людей и корчащийся в смерти или уже мёртвый мир человеческий.

Выставка Моне... *C i_shmael...*

Такого острейшего наслаждения от выставки я не испытывала много лет. Из детства — импрессионисты в Эрмитаже, Ван-Гог...

Помимо того, что выставка огромная, она потрясающе организована. Моне, как известно, очень любил писать одни и те же пейзажи, с одной и той же точки. И вот сошлись близнецы, — к примеру, из Лиссабона и из Мельбурна. Они, может, впервые встретились с тех пор, как пути их разошлись, и висят рядом на одной стенке, и смотришь, как свет падал в один день, а как в другой, и даже не в день, в час, в минуту. Остановись, мгновенье. Чуть-чуть сместилась закатная дорожка на Темзе. И ветер вырывает из рук зелёный зонтик, всё не может вырвать. Отражается в Сене церковь в Ветёйе, у которой мы останавливались по дороге за кизилом.

Свисают ивовые ветки и закрывают полнеба.

Пирамидальные тополя завиваются от ветра.

Женщина в красном платке проходит по саду. Моне смотрит на неё из дома через стеклянные двери.

Маленький мальчик стоит в глубине темноватой анфилады, где-то рядом что-то празднично-чудесное, вот-вот появится.

Мохнатые красные хризантемы в мохнатой вазе на столе.

Весенние летящие деревья в средиземноморском лёгком свете.

Сосна на переднем плане, за ней море, дальше горы — красный массив Эстерель.

Вьющиеся змеями ивовые красные стволы, яростные змеи, лезущие из земли, переплетённые кроны. Куда там Кандинскому!

Очень холодная зима с 1877 на 1878 — снег в Нормандии, зимнее розовое солнце, светятся дома, светятся кусты, небо. И вдруг потеплело — начался ледоход на Сене — замёрзшая Сена — такого даже в падающий сейчас за окном снег я не могу себе представить. Льдины плывут по Сене в хмурой зимности и в розовой вечерней весенности.

Этой зимой было так холодно, что Моне не всегда удавалось закончить работы на пленере (он вообще старался как можно меньше писать в мастерской), иногда приходилось что-то дописывать в помещении.

Дорога, облака, паруса в море.

И ещё одна уверенность, возникшая и у меня, и у *i_shmael* — Моне и у меня, и у него обусловил способ взгляда. Он писал то, что я хочу снимать, те самые ракурсы, те самые выхваченные детали, и та же игра с зумом. Два стога и тени, и стог остался один, и тень не поместилась. Берег с куском моря, и вот уже только кусок берега. Люди на пляже в Этрета, лодки на песке, наезжает зум — и уже только скалы и волны.

Когда-то ли на третьем этаже Эрмитажа это началось, когда я сидела на диванчике перед летним прудом с мостиком, а справа за окном была снежная Дворцовая площадь, долго сидела, глядя то на площадь, то на пруд?

Мы прошли всю выставку, а потом вернулись обратно и прошли её ещё раз... Праздник среди зимы...

За ужином мы выбирали картины — каждый — одну единственную, которую повесил бы в доме и жил бы с ней. Я хочу жить с Моне — с тем, где в сумерках за стеклянной дверью по саду проходит женщина в красном платке — а я смотрю в сад через стекло, из дома...

Я люблю ходить по Парижу одна. Вдруг вечером решаю — проеду через город. До Jussieu на метро, поднимаюсь на эскалаторе, — там лестница тихо едет прямо в небо, и первое что видишь, — ветки катальп.

Париж — по сути — негромкий город. И вот сейчас, под Рождество, — горсти синих лампочек на голых ветках, а кое-где сияют под жёлтыми фонарями одинокие подрагивающие жёлтые листья. Да морковные носы снежных баб в витринах дятлами стучатся в стёкла — на улицу, на улицу, в нехолодный нежный декабрьский вечер.

Гирлянды шелестят на ветру. В аквариумах кафе — то сверкнёт неподвижная лысина над книжкой, то руки взлетают над столом, — разговор.

В «Шекспире» толчётся народ. Несмотря на «читалки» всех мастей, несмотря на «Амазон» — не один Синявский так любил запах старых книг — в «Шекспире» даже новые пахнут пылью, может, от того, что трутся боками о старые — не умецаются на полках, падают на пол. Леший Синявский с бородищей и глазами, глядящими — один на вас, другой на Арзамас. Его-то, выбиравшего из всех запахов — псину и старые книги, «читалка» бы не устроила. Книги с жёлтыми заплесневелыми отсырелыми пахучими страницами.

Фельдмаршалу Марье Синявской исполнилось 80 лет.

Марья занималась в жизни самым разным — когда-то она славила в Москве своими ювелирными работами — благородными украшениями в старинном духе, потом в Париже писала статьи, книжки Синявского к печати готовила, на радио выступала, журнал «Синтаксис» издавала, у печатного станка стояла. И всю жизнь с Синявским был у них самый крепкий на свете — производственный роман. И тяжёлые генеральские обязанности она брала на себя, чтоб Синявский книжки спокойно писал.

А ещё Марья готовит замечательную еду — например чечевичную похлёбку, за которую много чего продать можно. Баранье крылышко, чечевичная похлёбка, солёный лосось — это мимолётное, съел и негу, поэтому Марье важней, чтоб хвалили её еду, чем статьи или украшения — что статьи хвалить — они написаны, напечатаны, никуда не денутся, а вот чечевичная похлёбка...

Гип-гип-Урра Марье и всем её чудесным умениям и достижениям! И очень хочется, чтоб она скорей дописала книжку воспоминаний «Абрам да Марья»...

А над Нотр Дам висела круглая луна. Между башнями и шпилем. Картинкой из волшебной книжки. Из старинной, где глянцевые ил-

люстрации вставлены между страницами и проложены папиросной бумагой. Я рассказала про эту луну Васке, и он вспомнил, что среди святых на Нотр Дам — Фома неверный с лицом Виоле-лё-Дюка. Он смотрит не туда, куда другие святые, один из всех — на тот самый шпиль, который сам и приладил. И протыкает его шпиль небо — не хуже тех, что тычут в него уже 600 лет.

На верхотуре на холоду сидят на балюстраде химеры. Одна оперлась на руку подбородком и глядит в даль. У неё папино лицо. И другая — с лицом васькиного лучшего друга — Жорки Бена...

Каменные живые лица задумчиво смотрят на город — эй, привет, — декабрьской лунной ранней ночью...

Парижская негромкость, неяркость вместе с чужими разговорами в кафе проникает под кожу. Сидим на углу Сен-Жермена, отделённые от улицы полиэтиленовой занавеской, от газовой обогривалки — жарко.

За соседним столиком мужик — чёрная борода, шерстяные руки, глаза горят, — болтает с девчонкой — она сидит спиной, за громадной растрёпанной светлой гривой её и не видно. Мы тоже болтаем, и из их разговора доносятся только какие-то отдельные фразы.

Как когда-то в Ленинграде носом чувствовала своих — в мелких переулках у Бана их много водилось, так вот и в Париже — урожайно на Левом берегу между Жюсье и Сен-Жермен-де-Пре.

Новогодний одуванчик под платаном на набережной, чайки из Тюильри кружатся над площадью Согласия, пролетают низко над головами, над машинами, которые вдруг в тёплом декабре, на минуту неподвижные у светофоров, звучат по-цикадски негромкими моторами.

А на нашем рынке мои знакомые продавцы опалют куриц газовой горелкой, похожей на туристский примус, напоминая о газовой плите с вьёвшейся грязью, стоящей на коммунальной кухне, где мама или бабушка над конфоркой палили остатки перьев с синей советской курицы.

И палишься на неошутимое время, оглядываясь назад, на секунды, скакавшие на стенке центра Помпиду, отсчитывавшие время до двухтысячного года. Жаль, больше они не прыгают, указывая на то, что и новый век будет, как ни крути, и проходя по набережной мимо музея современного искусства (l'art moderne) брюзгливо задаёшь вслух вопрос — а откроют ли, интересно, музей l'art postmoderne.

Блестят залитые солнцем бокалы, тень от фонаря железно неподвижна на белой стене, и не хочется ни галопить счастья, ни поселиться в чьей-нибудь дружественной шкуре, — остаётся только завидовать самой себе во времена, когда впереди была вечность — но это так же непродуктивно, как пытаться посчитать часы, выкинутые, к примеру, на чтение чуши — да и что главней — предвкушение праздника, или праздник?

В нашем лесу на полянке под платанами вырос декабрьский юный щавель. Мама считала, что в Новый год обязательно нужно что-нибудь новое надеть, ну, хоть новые чулки, я давно уже не надеваю нового, хоть бы потому, что этого нового в доме не оказывается, но завтра я смогу новое сделать — я пойду собирать щавель — впервые в Новый год!

Когда с шестого этажа глядишь смутным смурным утром в окно на облысевшую берёзовую макушку, на жёлтые берёзовые пятаки в яркой зелёной траве, голубь, торжественно вышагивающий перед идущим с рынка соседом, кажется маленькой собачкой. Тополь после последних ветров стоит неприлично голый и только мотает жёлтым драным флагом на самой верхушке, будто ёлочным шпилем украшенный.

В четверг ночью снежные бегущие над Европой тучи накрыли и нас, к счастью ненадолго. Нападало белое мокрое, укрыло газон, зачавкало под ногами, заскользило, а днём уже и следа не было — испарилось, сползло, зазеленело.

Такой вот день, — рвёт из рук зонтики, выворачивает их наизнанку. Дождь бежал по луже — мелкими шажками, на выходе притормаживая об асфальт.

Нормальная парижская зима. С мелкоцветущей хилой вишней, с хрусткой газонной зеленью.

Пока бежала против ветра, намокли колени в вельветовых штанах.

И вдруг в сверкнувшем солнце, на полянке в кампусе райская яблонька, усыпанная яблоками и сияющими каплями, прогнулась под весом двух толстых сорок. А ещё и дрозд уселся на соседнюю ветку, — жёсткие клювы долбили красные бока. Подоспела огромная ворона. Сороки с дроздом то ли насытились, то ли предпочли убраться подобру-поздорову. Вздрагивала ветка, лоснились яблочки. Ворона встряхнула мокрыми крыльями.

Манекены за огромными стёклами витрин на Елисейских полях надели лыжные шапочки. И в самом деле холодно — под бегаю-

щими по веткам платанов синими огоньками, под шарящим в небе прожектором с Эйфелевой башни. Платаны пощёлкивают жестяными листьями. Запах хлеба и тепла из булочной, люди за стёклами кафе разматывают шарфы, синеют над уличными столиками газовые обогревалки.

Детство — ожидание каникул, юность — ожидание звонков, праздников, встреч.

Идёшь по вечерней улице — между работой и домом, между делами, сложенными, как тарелки стопкой, — одно, другое, третье, между разговорами — идёшь в своей ежевечерней короткой анонимности — между — в этом равновесном печальном счастье здесь и сейчас...

В такой вот денёк, качающий ёлочные шары, то ли хочется в лес, — кажется, поймаешь смысл за хвост — поглядев, как хлюпает вода в размытой глине, цветёт всюду дрок, а папоротник скукожился, коричневый, — то ли без дураков — домой — закинуть ноги в красных шерстяных носках на стол, смотреть, как арманык полощется в широком бокале.

Когда-то самым важным было — влюбляться, и сейчас иногда захлёстывает памятью — вдруг случайно услышав еле заметный запах знакомого одеколона (феромоны в нём что ли?), или увидев крупным планом чьи-то руки на руле машины — на набережной, в вечернем расплавленном потоке.

Ужас не в том, что стареешь, а в том, что остаёшься молодым — старый Джолион так думал в 85.

И болтаем...

— Про Куздру сплошная семантика, вовсе не синтаксис — ясно же, что нехорошее она с бокром сделала и с бокрёнком тоже плохо обошлась.

— Это с чьей точки зрения нехорошее?

— Ясное дело, с бокриной, с куздриной очень даже хорошее.

— А какие прекрасные глагольные виды в русском — недо, пере...

— Вот недоперепил

— Что бы это значило?

— Ну, перепил — это когда мордой в салат, а недоперепил, — до морды в салат не допил, полез в драку.

И еще. Говорили сегодня с *tarzanissimo* о том, чем «питаются» разные поэты, ходили вокруг, да около.

Всё-таки мне кажется, что Бродский, говоря об экзистенциальном ужасе у Фроста, подставляет своё — всегда ж до какой-то степени отношение к чужому — проекция на своё — по-моему, Фрост сродни Пастернаку, — главные у них события — смена времён года — снегопады, листопады, дождь. Пантеисты они. И природное — основной источник счастья и смысла. Ранний Пастернак сформулировал, а дальше и жил в соответствии — «что в грозу лиловы глаза и газоны, и пахнет сырой резедой горизонт». Вот и Фрост так же.

Я в полудетстве именно это пастерначество вечно бормотала.

Неловко бывает из-за отсутствия интереса к социальному. Вытаскиваю себя за волосы. Одна из радостей эмиграции — право не думать о «политике». Иногда, конечно, приходится, но не повседневно, нет. А ведь по «пище», по концентрации интереса не только Цветаева и Маяковский оказываются где-то рядом, что естественно, но каким-то боковым образом Ахматова ближе к ним, чем к Пастернаку — у всех у них люди, человеческие отношения, вроде, в центре.

Пастернак с Фростом счастливики — снег ли идёт, сосны ли в небе качаются.

Впрочем, с мировой культурой, с Федрой, тоже жить можно.

Все разноплемённые ученики великого учителя Хулио Хуренито из «да» и «нет» выбрали «да», кроме еврея Ильи Эренбурга. У Цветаевой «поэты — жида» — про неё и Маяковского — несомненная правда — Нет, Нет, Нет — вечный выбор — «пора — пора — пора Творцу вернуть билет» — а про Пастернака совершеннейшая ложь — Да-Да-Да, всю жизнь — да. И у Мандельштама по сути — да...

У меня большие проблемы с французской литературой — она редко написана для меня. Французская живопись — любимейшая из любимых, а французская литература — нет. Мне мешает чёткость, проникающий в неё «*esprit cartésien*», однозначность... Кажется, поэтическое мышление, осязательность деталей, ассоциативность — ушли в живопись, а литература бывает простовата, однопланова, иногда торжественна и даже помпезна. Не всегда, конечно, но часто...

Не любить французскую литературу, живя в любимой Франции, очень неудобно — из-за этого читаю я, в основном, по-английски, реже по-русски и ещё реже по-французски. А из-за этого язык мой менее богат, чем хотелось бы, что страшно раздражает... В общем, я очень радуюсь, когда попадается что-то французское, что я читаю с удовольствием.

Сказки Марселя Эме попались уже довольно давно. Он очень французский писатель — и это тот случай, когда недостатки превращаются в достоинства. На ферме живут девочки Дельфина и Маринетта. У них большое чудесное общество — волы, курицы, поросёнок, умный ослик, мудрые кот и селезнь, да мало ли кто ещё. Прозрачным чётким рассудительным языком, иногда торжественным, разговаривают звери с фермы.

Да и не только с фермы. У девочек есть знакомый серый волк, добрый волк, хотя может случайно заиграться в «волка» и съесть... Когда, встретившись с Волком в первый раз, девочки отказываются с ним играть, потому что он плохой, бедолага Волк недоумевает... Почему это он плохой? И когда девочки, несколько не задумавшись, обвиняют его в том, что он ест ягнят, Волк справедливо обижается — «вы же их тоже едите». Лесной кабан с удовольствием разговаривает с девочками, умилившись тому, как им нравятся его любимые полосатые поросята. Кот намывает дождик, Вол читает философские книжки. Девочки живут в мире, в котором звери защищают их, а они зверей. Звери всегда дадут добрый совет, всегда помогут. Есть в этом мире двухголовое воплощение здравого смысла — Родители. Объяснить им что-нибудь очень трудно, они вредные и не понимают, что на самом деле важно, а что не очень. Но великодушные звери их прощают. Кот, например, перед которым они страшно виноваты, которого они хотели убить, всё-таки не мстит им, а соглашается намыть дождик и покончить с великой засухой.

Когда я прочитала эти сказки, у меня где-то на задворках сознания возникло ощущение, что я что-то ещё у Марселя Эме читала — давно, по-русски. Я вспомнила не имя, я вспомнила интонацию. И напоровшись в чьём-то доме на стоявший у нас когда-то на полке сборник «французская новелла», нашла рассказ — про маникюрщицу, к которой раз в неделю приходил очень вежливый обходительный клиент. Бывал он часто, потому что ногти у него быстро росли. Беседовал с маникюршей, дарил ей цветы, а однажды сделал предложение. Вечером дома муж снял сапоги, и на ногах у него оказались симпатичнейшие копытца. Жила эта пара долго и счастливо, и умерли они, конечно, в один день.

А вчера в лесу Рамбуйе по северным понятиям был — апрель — остатки снега под деревьями, мокрая глина хлюпала на дорожке, и небо всё время менялось — то сосновые верхушки вытягивались к белому пухлявому облаку, то синие неправильной формы дырки в сером расхлопывались-схлопывались, то опускалась тихая низкая

пелена. И запахи — дыма в деревне, хвои в лесу, чёрной живой воды в ручье.

А сначала с нами познакомилась кобылка, и опять обычный наш позор — ни яблока, ни морковки в кармане. Кобылке было скучно, и она, завидев нас, подбежала к забору, за которым паслась, и бескорыстно протянула в ладонь мягчайший нежнейший нос. Шёлковый и при этом тёплый. За такой нос — и не отблагодарить яблоком — с горя я сорвала охапку травы, которая у кобылки под ногами ничуть была не хуже, но добрая лошадка всё-таки взяла её с руки мягкими губами — дорого ведь внимание.

Мы пошли дальше, мимо рыжих светящихся в сумрачный день длинношёрстных шотландских коровок, выставивших в небо длинные рога. На стога сена наброшены были рогожки, чтоб не замёрзли и не промокли. И пахло тёплым коровьим уютом, — «дыханьем вола».

И началась охота за светом. Острым пронизывающим светом, тем, от которого загорается трава, и уж тем более рыжие папоротники. Прошли мы очень мало, то и дело хватались за фотоаппараты, и я завидовала-завидовала-завидовала художникам, в который раз проговаривая про себя, что никогда б не писала портретов, хоть вряд ли я мизантроп, — но писала б только пейзажи. Впрочем, хоть я твёрдо знаю, что венцы творения — это щенки, ну а ещё ослята, может, конечно, и слонята, но их я знаю хуже — писала б я всё равно только пейзажи — где ж ещё смысл, счастье, бессмертие, мировая гармония, вечность, если не в них — и, может быть, иногда, изредка натюрморты — какой-нибудь старый алюминиевый бидон с вмятиной, чтоб свет в него ударил, и какие-нибудь срезанные цветы рядом — впрочем, где взять запах молока и стеблей.

Свет вспыхивал на несколько минут, потом, будто выключатель повернули, — нет его, потом опять, и выхватывал из серебристольдистого фона то папоротник, то кусок ёлки, то уцепившийся за ветку лист.

Пошли мы сегодня с Катей гулять — каникулы, весёлый гостепад начинается — вдвоём — в отличном настроении. Идём себе, Катя снег носом роет, я фотографирую сосульки на ветках, снег на ежевичных листьях, — «всё снег да снег, — терпи и точка» — однообразное белое. Приходим на пруд. Я на секунду подумала, что надо бы Катю взять на поводок, чтоб не полезла в полузамёрзшую воду. Но как-то решила, что незачем, не имеет Катя обыкновения забегать на лёд. А у берега ледок. Идём-посвистываем, вижу морковка рыжая

у воды лежит, подумала, что, вроде, давно нутрий не видела. И тут Катя рванула, — по прибрежной льдине и в воду, нугрия перед ней плывёт. Надо сказать, что за утками, в этот раз важно гулявшими по льдине вместе с чайками, Катя никогда не бросалась — отчётливо знает, что собаки не летают. Дальше всё разворачивалось очень быстро. Катя, не догнав нутрии, повернула обратно — и попыталась выбраться на лёд, ей этого, естественно, не удалось — не подтянуться на лапах — она развернулась и повернула к середине озера, по чёрной воде. У другого берега тоже был лёд. И я с воплями «Катя, Катя» и под крики народа на берегу, бросилась по льду к воде — он, естественно, подломился, и я провалилась по колено, — выбралась, и через пару шагов провалилась по пояс. В последний прыжок я оказалась у края льда, как и подплывшая Катя — я выдернула её за ошейник. На берегу Катя решила, что самое время пробежаться и помчалась вокруг озера огромными прыжками, я — за ней, не прекращая вопить. Через пару минут она остановилась. Я схватила её на поводок, и мы припустили домой, — через лес — вверх из оврага, до дома было минут 20.

Я не успела замёрзнуть — кроме рук, которые горели и отваливались, — дома, скидывая одежду на ходу, бросилась под горячий душ. Потом — две чашки чаю с ромом.

Всё бы хорошо, но в кармане куртки у меня был мой несчастный аппарат, в другом кармане мобильник. Бедный аппарат лежит сейчас с выдвинутым объективом и сохнет... Вряд ли он заработает.

А мобильнику хоть бы хны.

А ещё теперь у меня завёлся новый аппарат: Сапоп. Он сам запрыгивает в руку и укладывается в ладонь. Я впервые стала снимать на неавтоматическом режиме. И совершенно по-неофитски прихожу в восхищение от того, что надо же — расширишь дырку — светлей, сузишь — темней, но можно тогда увеличить выдержку. И все эти чудеса видны на аппаратном экране.

В субботу мы съездили в Нормандию — к морю. Там дует ветер — продувает, выдувает чёрные мысли, и не видно зимы — изумрудные поля до самого скального обрыва. И только вот терновник узнаёшь по колючкам, смутно помня, что должны ещё быть мелкие белые цветы.

Главный цвет — зелёный — цвет приморского декабря.

Странное дело — маленькие милые уютные городки, человечьи поселения, тот же Этрета, где мы бросили машину, где кокетливые дома начала двадцатого с башенками, и несколько резных деревян-

ных 16-го, и ресторанчик у пляжа, где мы ели хрустящие блины, запивая их сидром, радуют только после того, как пройдёшь ногами несколько часов, тогда чашка горячего кофе в заслугу, в награду, а если приедешь на машине, повертись по улицам — внутри образуется странная пустота не вполне состоявшегося дня.

Ну, а море — море — море, и в поле наперегонки бегущие мохноногие тяжеловозные мама и сын — какой же это лош — это попросту маленький мохнотун, и скрип песка, и смачный хлюп волны, и этот выдувающий горести ветер — есть городок, нету ли — только вот идти, да идти, да пытаться сложить эти отпечатки на глазах в правильный пазл, строка к строке — голые ветки, зелёная трава, жалкие декабрьские розы, дребезжащие под ветром натянутые поперёк улиц ёлочные гирлянды, и мокрые холодные широколиственные водоросли, распластавшиеся на блестящей гальке.

А дома все пьют, едят, болтают — одновременно и порознь — то бутерброд, то ужин, то водка, то вино, то коньяк, то кампари. Два стола составлены вместе — нас минимум 7, но часто 8, 9, 10. По прихожей гуляют башмаки — будто мы сороконожки. И ёлка, мигая разноцветными лампочками, укоризненно обтрясая иголки, когда мимо неё протискивается очередной слонопотам, глядит на нас — но стоит поднести аппарат, — стесняется, скукоживается, и волшебное заключённое в ней свечение, отсылающее к миллионам других сияний, ко всем портативным вечностям, которых у всех набирается за жизнь, не желает проявляться в кадре. И я, как каждый год, неумоимо бегаю вокруг неё кругами — ёлочка зажгись... А она глядит на законный тополь, может быть, даже завистливо — его всё-таки ждёт весна, а не оборванные иголки, лифт, помойка. Остаётся только уповать на то, что душа новогодней ёлки — одна на всех, и у той, что у Нотр-Дам, и у той, что у Святого Петра, и у тех, что папа 31 декабря много лет подряд вытаскивал из-за окна на 6-ой линии Василевского острова, где они висели с неделю на морозе под снегом и ледяными дождями — как повезёт, притороченные верёвками, и в комнату вместе с еловым запахом на минуту входил холод. Всё-таки синие огоньки на ёлке у Нотр-Дам, синие мигающие лампочки на собственной ёлке, отражённые в тёмном окне, запах горячего с корицей вина на рождественском базаре на Елисейских полях, смачное хлюпанье холодного дождя, жёлтые листья на берёзе, дрожащие в нашем лесу, пещера, тёплый бок серого ослика и нежное, пахнущее сеном, дыханье вола, замёрзший Бах на флейте у Лувра, медная труба на моей ёлке и шарик, который я каж-

дое Рождество фотографирую — прозрачный, голубоватый, на нём заснеженные сахарные крыши и жёлтые окошки — он не даётся, — тук-тук, кто в домике живёт, — и в раме окна он едет куда-то, в будущий новый год, — стучат колёса, — дом, купе, красные паровозные колёса — мимо тополя, мимо сорок-белобок с сияющими хвостами, и падают в огромном прозрачном шаре серебряные капли, и остро наточенный месяц — не дотрагивайся — отхватит руку, а то и голову, висит за окном.

И с Новым годом!

И чтоб они, ясное дело, все сдохли, и чтоб мы процветали, и чтоб время было к нам благосклонно — и весна не за горами!

А *tarzanissimo* прибавляет:

эй хрюкнем,
эй хрюкнем,
ещё разик, ещё раз!

ИМЕНА И КЛИЧКИ

Васька *tarzanissimo* <http://tarzanissimo.livejournal.com/profile>

Бегемот *bgmt* <http://bgmt.livejournal.com/profile>

Альбир *albir* <http://albir.livejournal.com/profile>

Машка *mrka* <http://mrka.livejournal.com/profile>

Галка *liber_polly* <http://liber-polly.livejournal.com/profile>

Наташа Хаткина Камбала (*cambala*) <http://cambala.livejournal.com/profile>

Вова Минкин *vovaminkin* <http://vovaminkin.livejournal.com/profile>

Ишмаэль *i_shmael* <http://i-shmael.livejournal.com/profile>

Катя — ньюфаундленд

Нюша — ньюфаундленд

Гриша — серая пятно-полосатая беспородная кошка

Туари — зоопарк-сафари под Парижем

ОГЛАВЛЕНИЕ

Вместо предисловия	3
ЯНВАРЬ	5
ФЕВРАЛЬ	14
МАРТ	22
АПРЕЛЬ	28
МАЙ	37
ИЮНЬ	50
ИЮЛЬ	61
АВГУСТ	79
СЕНТЯБРЬ	98
ОКТАБРЬ	115
НОЯБРЬ	134
ДЕКАБРЬ	160

Литературно-художественное издание

Кассель Елена Вадимовна
еЖЖЕДНЕВНИК

Редактор А.Бирштейн
Верстальщик М. Кордонский

Лицензия на издательскую деятельность ДК № 381 от 26.03.2001 г.
ООО «ВМВ»
Украина, 65053, Одесса, пр-т Добровольского 82-а. Тел. 751-14-87

Подписано в печать 15.05.2013
Формат 84x108/32. Усл. печ. листов 5,75
Гарнитура Charter. Бумага офсетная.
Тираж 50 экз.
Отпечатано в типографии ВМВ

А это из будущей книги.

Условное название «ВАСЬКА»

Марья когда-то сказала, что самые крепкие на свете романы — производственные, и победительно посмотрела на Синявского.

Вот и у нас с Васькой — производственный роман. Мы вытянули счастливый билет — довольно поздно, но всё-таки после всех браков и не браков — вдруг построили общую жизнь, а в центре — общая работа. В самом начале нашей совместности Васька говорил — «чёрт, чёрт, чёрт, мы ж могли 20 лет назад встретиться». Когда ему было сорок, а мне уже целых 17...

Но я ему отвечала:

— Хрен — мне с тобой надо было встретиться взрослой, а иначе ни фиги б у нас не вышло!

Да и Ваську юные девочки никогда не интересовали. ...

Васька дал мне радость соучастия в литературе — радость — не то слово — это хлеб, а не десерт.

Первый год нашей свежевулупленной жизни был годом разговоров. Сколько лет нужно было друг другу рассказать! Ну а поскольку я всё-таки ходила на работу на целый день, разговаривать приходилось вечерами, переходящими в ночь, и викендами. Мне кажется, что в первый общий год мы редко засыпали до шести утра. А потом часам к десяти Васька вёз меня на машине на работу, откуда забирал около семи вечера. ...

Я вполне терпимо делала свою инженерскую компьютерную работу, но на заднем плане в голове почти всегда крутился какой-нибудь недоспоренный литературный разговор. Однажды я полдня вместо того, чтоб дело делать, выписывала на листок поэтические цитаты. ... Я хотела дожать его цитатами, доказать, что инверсия — органическая часть русского языка, даже и не специфический приём, просто языковая реальность. И что изменение порядка слов меняет смысл, иначе поворачивает фразу. Васька вынужден был признать, что в приведённых мной цитатах инверсия играет, но так просто дать положить себя на лопатки он не мог, и тут же переключился на перевод — дескать, в моих цитатах инверсия — приём, а у переводчиков — «не влезло в строку — нажал и сломал.»

Ну, и конечно, в тот же первый год мне надо было прочесть все его стихи от самого начала начал, выбрать любимые-нелюбимые. ...

И нёсся радостный цветущий год — я даже дождей не помню в
наши первые весну-лето — с работы — в лес, в запахи, к вечерней
размеренной кукушке.

А ещё люди — мои и его, становящиеся общими. ...

Сегодня я подумала, что первый стих, имеющий отношение к
нашим разговорам, был написан в самом начале нашей жизни, в
1991-ом, и мы оба считали его одним из лучших:

* * *

Тяжёлый юг. Тяжёлое вино.
И терпкое, как плюш на белых стенах,
Что оплетает узкое окно,
Где чёрные решётки неизменны.
Взгляд с улицы на узкое окно —
И стёкол нет, но всё внутри черно.

Вот так же в кружку глиняную глянешь,
В ней цвет вина вовек не различить —
Пить наугад, или совсем не пить?
Пока со света в темноту устанешь
Глядеть в чужое узкое окно:
Кто в комнате? Увидеть — не дано.

В тяжёлый полдень медного чекана
На берег ветер скатится густой —
Он не остудит йодистый настой,
И пальцами не шевельнут платаны,
Не прояснится чёрное окно.

Тяжелый юг. Тяжёлое вино.



Второе десятилетие нового века. Что было недавно, а что давно? Или времени и вправду нет, и мы живём на страницах своих собственных личных книг, перелистывая, вчитываясь, застывая — каждому, как известно, своё...

«Театрального капора пеной», «театрального капора пеной»

Рассказываем чего-то кому-то, вон даже пишем. Клочки чужих воспоминаний перемешиваются с собственными. И на каком-то уровне память становится общим местом, и так хочется, чтоб не уходило личное.

Странное всё же желание чему-то принадлежать, и так принадлежим, больше, чем надо. Казалось бы, наоборот — личное, только своё — так сильно размывается временем, в воспоминаниях всегда столько совпадений. И на какой-нибудь твой день с особенным закатом найдётся чужой такой же.

А возвращение всегда — стык времени и пространства. Если всё хорошо, если без разрушений, мы приезжаем через год, через пять, через десять — и говорим, что пространство то же. Темы и вариации. Многим в детстве хотелось стать археологами — после книжки «Боги. Гробницы. Учёные» — и правда, удивительно — черепок — стык времени и пространства — земля сменилась, трава...

И время, проходящее через человека, остающееся в нём, и пространства накапливаются за жизнь тоже.

Не любить Солженицына стало общим местом — а за что его любить? Несколько лет назад я перечитала «Жить не по лжи» и обомлела. В разгар тысячелетнего рейха советской власти, железной скрипучей перемалывающей системе сказать — не боюсь — не боюсь, и всё тут. Прямо в морду сказать...

Как можно было забыть, что он это сделал?

В который раз за последние годы в ушах — «когда погребают эпоху».

Нет, эпоха Солженицына прошла очень давно. Протопоп Аввакум, вставший против системы с её танками и пушками.

Уходит очень личное — уходит моё детство, моя юность. Мир сменил кожу, и ещё чей-то уход — звонок.

Нет Лема, нет Воннегута...

Нет Феллини, Бергмана, Антониони...

Нет Синявского, Копелева, Галича, Максимова, Солженицына...

Кажется, что тех, кого нет, уже больше, чем тех, кто есть...